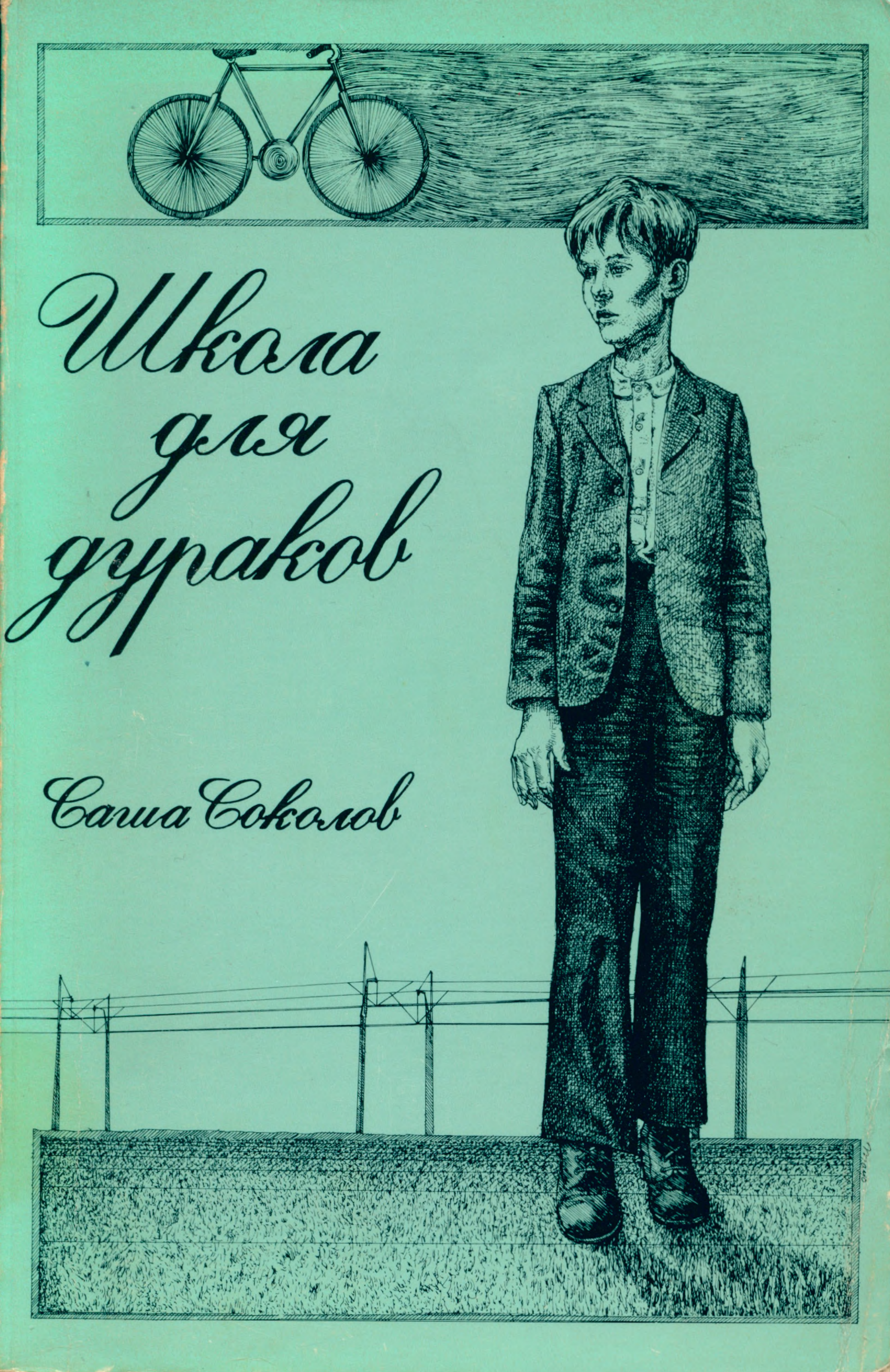
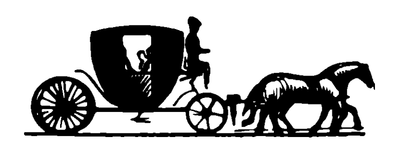

Школа
для
дураков
Саша Соколов



Саша Соколов

ШКОЛА ДЛЯ ДУРАКОВ

Ардис Анн Арбор

Саша Соколов

Школа для дураков

Printed in the United States of America.

ISBN 0-99233-189-2 (cloth)
0-99233-188-4 (paper)

Слабоумному мальчику Вите Пляскину,
моему приятелю и соседу.

Автор

ШКОЛА ДЛЯ ДУРАКОВ

Но Савл, он же и Павел, исполнившись
Духа Святого и устремив на него взор,
сказал: о, исполненный всякого коварства
и всякого злодейства, сын диавола, враг
всякой правды! перестанешь ли ты совращать
с прямых путей Господних?

Деяния Святых Апостолов, 13, 9-10

Гнать, держать, бежать, обидеть,
слышать, видеть и вертеть, и дышать,
и ненавидеть, и зависеть и терпеть.

*Группа глаголов русского языка,
составляющих известное исключение
из правил; ритмически организована
для удобства запоминания.*

То же имя! Тот же облик!

Эдгар По, "Вильям Вильсон"

ГЛАВА ПЕРВАЯ

НИМФЕЯ

Так, но с чего же начать, какими словами? Все равно, начни словами: там, на пристанционном пруду. На *пристанционном?* Но это неверно, стилистическая ошибка, Водокачка непременно бы поправила, пристанционным называют буфет или газетный киоск, но не пруд, пруд может быть *околостанционным.* Ну, назови его околостанционным, разве в этом дело. Хорошо, тогда я так и начну: там, на околостанционном пруду. Минутку, а станция, сама станция, пожалуйста, если не трудно, опиши станцию, какая была станция, какая платформа: деревянная или бетонированная, какие дома стояли рядом, вероятно ты запомнил их цвет, или, возможно, ты знаешь людей, которые жили в тех домах на той станции? Да, я знаю, вернее, знал некоторых людей, которые жили на станции, и могу кое-что рассказать о них, но не теперь, потом, когда-нибудь, а сейчас я опишу станцию. Она обыкновенная: будка стрелочника, кусты, будка для кассы, платформа, кстати, деревянная, скрипучая, дощатая, часто вылезали гвозди и босиком там не следовало ходить. Росли вокруг станции деревья: осины, сосны, то есть — разные деревья, разные. Обычная станция — сама станция, но вот то, что за станцией — то представлялось очень хорошим, необыкновенным: пруд, высокая трава, танцплощадка, роща, дом отдыха и другое. На околостанционном пруду купались обычно вечером, после работы, приезжали на электричках и купались. Нет, но сначала расходились, шли по дачам. Устало, отдуваясь, вытирая лица платками, таща портфели, авоськи, екая селезенкой. Ты не помнишь, что лежало в авоськах? Чай, сахар, масло, колбаса; свежая, бьющая

хвостом рыба; макароны, крупа, лук, полуфабрикаты; реже – соль. Шли по дачам, пили чай на верандах, надевали пижамы, гуляли – руки-за-спину – по садам, заглядывали в пожарные бочки с зацветающей водой, удивлялись множеству лягушек – они прыгали всюду в траве, – играли с детьми и собаками, играли в бадминтон, пили квас из холодильников, смотрели телевизор, говорили с соседями. И если еще не успевало стемнеть, направлялись компаниями на пруд – купаться. А почему они не ходили к реке? Они боялись водоворотов и стреженей, ветра и волн, омутов и глубинных трав. А может быть реки просто не было? Может быть. Но как же она называлась? Река называлась.

К пруду вели, по сути дела, все тропинки и дорожки, все в нашей местности. От самых дальних дач, расположенных у края леса, вели тонкие, слабые, почти ненастоящие тропинки. Они едва светились вечером, мерцая, в то время как тропинки более значительные, протоптанные издавна и навсегда, дорожки настолько убитые, что не могло быть и речи, чтобы на них проросла хоть какая-нибудь трава, – такие дорожки и тропинки светились ясно, бело и ровно. Это на закате, да, естественно, на закате, только сразу после заката, в сумерках. И вот, вливаясь одна в другую, все тропинки вели в сторону пруда. В конце концов за несколько сот метров до берега они соединялись в одну прекрасную дорогу. И эта дорога шла немного покосами, а потом вступала в березовую рощу.Оглянись и признайся:плохо или хорошо было вечером, в сером свете, въезжать в рощу на велосипеде? Хорошо. Потому что велосипед – это всегда хорошо, в любую погоду, в любом возрасте. Взять, к примеру, коллегу Павлова. Он был физиологом, ставил разные опыты с животными и много катался на велосипеде. В одном школьном учебнике – ты, разумеется, помнишь эту книгу – есть специальная глава о Павлове. Сначала идут картинки, где нарисованы собаки с какими-то специальными физиологическими трубочками, вшитыми в горло, и объясняется, что собаки привыкли получать пищу по звонку, а когда Павлов не давал им пищу, а только зря звенел – тогда животные волновались и у них шла слюна – прямо удивительно. У Павлова был велосипед и академик много ездил на нем. Одна

поездка тоже показана в учебнике. Павлов там уже старый, но бодрый. Он едет, наблюдает природу, а звонок на руле – как на опытах, точно такой же. Кроме того, у Павлова была длинная седая борода, как у Михеева, который жил, а возможно и теперь живет в нашем дачном поселке. Михеев и Павлов – они оба любили велосипед, но разница тут вот в чем: Павлов ездил на велосипеде ради удовольствия, отдыхал, а для Михеева велосипед всегда был работой, такая была у него работа: развозить корреспонденцию на велосипеде. О нем, о почтальоне Михееве, – а может его фамилия была, есть и будет Медведев? – нужно говорить особо, ему следует уделить несколько особого времени, и кто-нибудь из нас – ты или я – обязательно это сделает. Впрочем, я думаю, ты лучше знаешь почтальона, поскольку жил на даче куда больше моего, хотя, если спросить соседей, они наверняка скажут, будто вопрос очень сложный и что разобраться тут почти невозможно. Мы, скажут соседи, не очень-то следили за вами – то есть за нами, и что это, мол, вообще за вопрос такой странный, зачем вам вдруг понадобилось выяснять какие-то нелепые вещи, не все ли равно, кто сколько жил, просто несерьезно, мол, займитесь-ка лучше делом: у вас в саду май, а деревья по-видимому совсем не окопаны, а яблочки, небось, кушать нравится, даже ветрогон Норвегов, заметят, – и то с утра в палисаднике копается. Да, копается, ответим мы – кто-нибудь из нас – или мы скажем хором: да, копается. У наставника Норвегова есть на это время, есть желание. К тому же у него – сад, дом, а у нас – у нас-то ничего подобного уже нет – ни времени, ни сада, ни дома. Вы просто забыли, мы вообще давно, лет наверное девять не живем здесь в поселке. Мы ведь продали дачу – взяли и продали. Я подозреваю, что ты, как человек более разговорчивый, общительный, захочешь что-нибудь добавить, пустишься в пересуды, начнешь объяснять, почему продали и почему, с твоей точки зрения, можно было не продавать, и не то что можно, а нужно было не продавать. Но лучше уйдем от них, уедем на первой же электричке, я не желаю слышать их голоса.

Наш отец продал дачу, когда вышел на пенсию, хотя пенсия оказалась такая большая, что дачный почтальон Михеев,

который всю жизнь мечтает о хорошем новом велосипеде, но все не может накопить достатачно денег, потому что человек он не то что бы щедрый, а просто небережливый, значит, Михеев, когда узнал отодного нашего соседа, товарища прокурора, какую пенсию станет получать наш отец, то едва не упал с велосипеда. Почтальон спокойно проезжал вдоль забора, за которым находилась дача соседа, –кстати, ты не помнишь его фамилию? Нет, так сразу не вспомнишь: плохая память на имена, да и что толку помнить все эти имена, фамилии – правда? Конечно, но если бы мы знали фамилию, то было бы удобнее рассказывать. Но можно придумать условную фамилию, они – как ни крути – все условные, даже если настоящие. Но с другой стороны, если назвать его условной фамилией, подумают, будто мы что-то тут сочиняем, пытаемся кого-то обмануть, ввести в заблуждение, а нам скрывать совершенно нечего, речь идет о человеке-соседе, о соседе, которого все в поселке знают, и знают, что он работает товарищем прокурора, и дача у него обычная, не очень-то шикарная, и зря, пожалуй, болтали, будто дом у него из ворованного кирпича – как ты считаешь? А? о чем ты? Ты что – не слушаешь меня? Нет, слушаю, просто я сейчас подумал, что в тех склянках было наверное пиво. В каких склянках? В тех больших, у соседа в сарае, в них было обыкновенное пиво – как думаешь? Я не знаю, не помню, я давно не думал о том времени. И в тот момент, когда мимо соседского дома проезжал Михеев, хозяин стоял на пороге сарая и рассматривал на свет склянку с пивом. Велосипед Михеева сильно дребезжал, подпрыгивая на выступающих из-под земли сосновых корнях, и сосед не мог не услышать и не узнать михеевского велосипеда. А услышав и узнав, быстро подошел к забору, чтобы спросить, нету ли писем, а вместо этого – неожиданно для самого себя – сообщил почтальону: прокурора-то, – сказал товарищ прокурора, – слышал? на пенсию ушли. Улыбаясь. Сколько дали? – отозвался Михеев, не останавливаясь , но лишь слегка тормозя, – сколько денег? Он оглянулся в движении своем, и сосед увидел, что загорелое лицо почтальона ничего не выражает. Почтальон, как всегда, выглядел спокойным, только борода его с прилипшими к ней хвойными иглами развевалась по ветру: по ветру, рожденному скоростью, по скорост-

ному велосипедному ветру, и соседу — будь он хоть немного поэтом, непременно показалось бы, что лицо Михеева, овеянное всеми дачными сквозняками, как бы само излучает ветер, и что Михеев и есть тот самый, кого в поселке знали под именем Насылающий Ветер. Точнее сказать, н е з н а л и. Никто даже не видел этого человека, его, возможно, и не существовало вовсе. Но вечерами, после купания в пруду, дачники сходились на застекленных верандах, рассаживлись в плетеных креслах и рассказывали друг другу разные истории, и одной из них была легенда о Насылающем. Одни утверждали, будто он молод и мудр, другие — будто стар и глуп, третьи настаивали на том, что он средних лет, но неразвит и необразован, четвертые — что стар и умен. Находились и пятые, заявлявшие, что Насылающий молод и дряхл, дурак — но гениален. Говорили, будто он появляется в один из самых солнечных и теплых дней лета, едет на велосипеде, свистит в ореховый свисток и только и делает что насылает ветер на ту местность, по которой едет. Имелось ввиду, что Насылающий насылает ветер только на ту местность, где слишком уж много дач и дачников. Да-да, а там и была как раз такая местность. Если не ошибаюсь, в районе станции три или четыре дачных поселка. А как называлась станция? — я никак не могу рассмотреть издали. Станция называлась.

Это пятая зона, стоимость билета тридцать пять копеек, поезд идет час двадцать, северная ветка, ветка акации или, скажем, сирени, цветет белыми цветами, пахнет креозотом, пылью тамбура, куревом, маячит вдоль полосы отчуждения, вечером на цыпочках возвращается в сад и вслушивается в движение электрических поездов, вздрагивает от шорохов, от том цветы закрываются и спят, уступая настояниям заботливой птицы по имени Найтингейл; ветка спит, но поезда, симметрично расположенные на ней, воспаленно бегут в темноте цепочками, окликая по имени каждый цветок, обрекая бессоннице желчных станционных старух, безногих и ослепленных войной вагонных гармонистов, сизых путевых обходчиков в оранжевых безрукавках, умных профессоров и безумных поэтов, дачных изгоев и неудачников — удильщиков ранней и поздней рыбы, путающихся в пружинистых

сплетениях прозрачной лесы, а также пожилых бакенщиков-островитян, чьи лица, качающиеся над медно-гудящими черными водами фарватера, попеременно бледны или алы, и наконец служащих лодочных пристаней, кому мерещится звон отвязанной лодочной цепи, плеск весел, шорох паруса, и они, набросив на плечи гоголевские шинели без пуговиц, выходят из сторожек и шагают по береговым фарфоровым пескам, по дюнам, по травянистым откосам; тихие слабые тени служащих ложатся на камыши, на вереск, а самодельные трубки их светятся подобно кленовым гнилушкам, приманивая удивленных ночных бабочек; но ветка спит, сомкнув лепестки цветов, и поезда, спотыкаясь на стыках, ни за что не разбудят ее и не стряхнут ни капли росы – спи спи пропахшая креозотом ветка утром проснись и цвети потом отцветай сыпь лепестками в глаза семафорам и пританцовывая в такт своему деревянному сердцу смейся на станциях продавайся проезжим и отъезжающим плачь и кричи обнажаясь в зеркальных купе как твое имя меня называют Веткой я Ветка акации я Ветка железной дороги я Вета беременная от ласковой птицы по имени Найтингейл я беременна будущим летом и крушением товарняка вот берите меня берите я все-равно отцветаю это совсем недорого я на станции стою не больше рубля я продаюсь по билетам а хотите езжайте так бесплатно ревизора не будет он болен погодите я сама расстегну видите я вся белоснежна ну осыпьте меня совсем осыпьте же поцелуями никто не заметит лепестки на белом не видны а мне уж все надоело иногда я кажусь себе просто старухой которая всю жизнь идет по раскаленному паровозному шлаку по насыпи она вся старая страшная я не хочу быть старухой милый нет не хочу я знаю я скоро умру на рельсах я я мне больно мне будет больно отпустите когда умру отпустите эти колеса в мазуте ваши ладони в чем ваши ладони разве это перчатки я сказала неправду я Вета чистая белая ветка цвету не имеете права я обитаю в садах не кричите я не кричу это кричит встречный тра та та в чем дело тра та та что тра кто там та где там там там Вета ветла ветлы ветка там за окном в доме том тра та том о ком о чем о Ветке ветлы о ветре тарарам трамваи т р а м в а и аи вечер добрый билеты би леты чего нет Леты реки Леты ее нету вам аи цвета ц Вета ц Альфа Вета Гамма и так далее чего никто

не знает потому что никто не хотел учить нас греческому было непростительной ошибкой с их стороны это из-за них мы не можем перечислить толком ни одного корабля а бегущий Гермес цветку подобен но мы почти не понимаем этого того сего Горн мыс труби головы а барабан естественно бей тра та та вопрос это кондуктор ответ нет констриктор что вы там кричите вам плохо вам показалось мне хорошо это встречный простите теперь я точно знаю что это был встречный а то знаете задремал и слышу вдруг не то поет кто-то не то не та не то не та не то не та нетто брутто Италия итальянский человек Данте человек Бруно человек Леонардо художник архитектор энтомолог *если хочешь увидеть летание четырьмя крыльями ступай во рвы Миланской крепости и увидишь черных стрекоз* билет до Милана даже два мне и Михееву Медведеву хочу стрекоз летание в ветлах на реках во рвах некошеных вдоль главного рельсового пути созвездия Веты в гущах вереска где Тинберген сам родом из Голландии женился на коллеге и вскоре им стало ясно что аммофила находит путь домой вовсе не так как филантус а тамбурин конечно же бей кто в тамбуре там та там та там там простая веселая песенка исполняется на тростниковой дурочек на Веточке железной дороги тра та та тра та та вышла кошка за кота за кота Тинбергена приплясывая кошмар ведьма она живет с экскаваторщиком вечно не дает спать в шесть утра поет на кухне готовит ему пищу в котлах горят костры горючие кипят котлы кипучие нужно дать ей какое-то имя если кот Тинберген она будет ведьма Тинберген пляшет в прихожей с самого утра и не дает спать поет про кота и наверное очень кривляется. А почему – *наверное*? разве ты не видел, как она пляшет. Нет, мне кажется я вообще не видел ее никогда. Я живу в одной с ней квартире уже много лет, но дело в том, что ведьма Тинберген – это совсем не та старая женщина, которая здесь прописана и которую я вижу по утрам и вечерам не кухне. Та старая женщина – другая, ее фамилия Трахтенберг, Шейна Соломоновна Трахтенберг, еврейка, на пенсии, она одинокая пенсионерка, и всякое утро я говорю ей: доброе утро, а вечером: добрый вечер, она отвечает, она очень полная женщина, у нее рыжие с сединой волосы, кудри, ей лет

шестьдесят пять, мы почти не разговариваем с ней, нам просто не о чем разговаривать, но время от времени, примерно раз в два месяца, она просит у меня патефон и прокручивает на нем одну и ту же пластинку. Больше она ничего не слушает, у нее нет больше ни одной пластинки. А что за пластинка? Я сейчас расскажу. Предположим, я возвращаюсь домой. Откуда-то. Должен заметить, я заранее знаю, когда Трахтенберг станет просить патефон, я за несколько дней предвижу, что вот скоро, уже совсем скоро она скажет: слушайте, радость моя, сделайте мне удовольствие, что там у вас с патефоном? Я поднимаюсь по лестнице и чувствую: Трахтенберг уже стоит там, за дверью, в прихожей, ожидая меня. Я смело вхожу. Смело. Я вхожу. Добрый вечер. Смело. Вечер добрый, радость моя, сделайте мне удовольствие. Я достаю патефон со шкафа. Довоенный патефон, купленный тогда-то и там-то. Кем-то. У него красный ящик, он всегда в пыли, потому что я хоть и вытираю пыль в комнате, как учила меня наша добрая терпеливая мать, до патефона руки никогда не доходят. Сам я давно не завожу его. Во-первых у меня нет пластинок, а во-вторых, патефон не работает, испорчен, пружина давно лопнула и диск не вращается, поверь мне. Шейна Соломоновна, – говорю я, – патефон не работает, вы же знаете. Не важно, – отвечает Трахтенберг, – мне только одну пластиночку. Ах, только одну, – говорю я. Дадада, – улыбается Шейна, зубы у нее в основном золотые, носит очки в черепаховой оправе, лицо пудрит, – одну пластиночку. Она берет патефон, уносит к себе в комнату и запирается на задвижку. А минут через десять я слышу голос Якова Эммануиловича. Но ты не сказал, кто это – Яков Эммануилович. А разве ты не помнишь его? Он был ее муж, он умер, когда нам с тобой было лет десять, и мы жили с родителями в той комнате, где теперь живу один я, или живешь один ты, короче – кто-то из нас. А все же – кто именно? Какая разница! Я рассказываю тебе такую интересную историю, а ты опять начинаешь приставать ко мне, я ведь не пристаю к тебе, по-моему мы раз и навсегда договорились, что между нами нет никакой разницы, или ты снова хочешь т у д а? Извини, впредь я постараюсь не причинять тебе неприятностей, понимаешь, у меня не все хорошо с памятью. А думаешь, у меня хорошо? Ну извини,

пожалуйста, извини, я не хотел огорчать тебя. Так вот, Яков умер от лекарства, он чем-то отравился. Шейна очень мучила его, требовала каких-то денег, она полагала, что муж скрывает от нее несколько тысяч, а он был обыкновенный аптекарь, провизор, и я уверен, что у него не было ни гроша. Я думаю, Шейна просто издевалась над ним, требуя денег. Она была моложе Якова лет на пятнадцать и, как говорили во дворе на скамейках, изменяла ему с управляющим домами Сорокиным, у которого была одна рука, и который потом, год спустя после смерти Якова, повесился в пустом гараже. За неделю до этого он продал немецкую трофейную машину, которую привез из Германии. Если помнишь, на скамейках любили поговорить о том, зачем Сорокину машина, он все-равно не может водить, не станет же он шофера нанимать. А потом все выяснилось. Когда Яков уезжал в командировку или по суткам дежурил в аптеке, Сорокин уводил Шейну в гараж, и там, в машине, она и изменяла Якову. Вот благо-то, говорили на скамейках, вот благо-то — собственная машина, мол даже и ездить оказывается не обязательно на ней: явился в гараж, заперся изнутри, фары включил, сиденья откинул — и пожалуйста, развлекайся на здоровье. Ну и Сорокин, говорили во дворе, даром что безрукий. Опиши наш двор, как он выглядел тогда, столько-то лет назад. Я бы сказал, то была скорее свалка, чем двор. Росли чахлые деревья липы, стояли два или три гаража, а за гаражами — горы битого кирпича и вообще всякого мусора. Но главное — там валялись старые газовые плиты, сотни три или четыре, их свезли к нам во двор из всех соседних домов сразу после войны. Из-за этих газовых плит у нас во дворе всегда пахло кухней. Когда мы открывали им духовки, дверки духовок, они ужасно скрипели. А зачем мы открывали дверки, зачем? Мне странно, что ты не понимаешь этого. Мы открывали дверки, ч т о б ы тут же с размаху захлопывать их. Но не возвратиться ли нам к людям, которые жили в нашем дворе, мы знали многих. Нет-нет, с ними так скучно, я хотел бы поговорить теперь о другом. Видишь ли, у нас вообще что-то не так со временем, мы неверно понимаем время. Ты не забыл, как однажды, много лет назад, мы повстречали на станции нашего учителя Норвегова? Нет, не забыл, мы встретили его на станции. Он сказал, что поки-

нул час назад берега водоема, где производил ужение на мотыля. У него и правда была с собою удочка и ведро, и я успел заметить, что в ведре плавали какие-то животные, но только не рыбы. Наш географ Норвегов построил дачу тоже в районе той станции, только за рекой, и нередко мы навещали его. Но что еще сказал нам в тот день учитель? Географ Норвегов сказал нам примерно следующее: молодой человек, вы, должно быть, заметили, какая прекрасная погода удерживается в нашей местноти вот уже много дней кряду; не считаете ли вы, что наши уважаемые дачники не заслуживают подобной роскоши? не кажется ли вам, мой юный товарищ, что пора бы уже, как говорится, грянуть буре, грозе? Норвегов посмотрел в небо, рукой глаза свои заслонив от солнца. И ведь грянет, милый вы мой, да еще как грянет — полетят клочки по закоулочкам! И не когда-нибудь, а не сегодня-завтра. Кстати, вы-то задумываетесь над этим, вы в это верите?

Павел Петрович стоял посреди платформы, станционные часы показывали два часа пятнадцать минут, на нем была его обычная светлая шляпа, вся в небольших дырочках, будто изъеденная молью или многократно пробитая ревизорским компостером, а на самом деле дырочки были пробиты на фабрике, чтобы у покупателя, а в данном случае у Павла Петровича, в жаркие времена года не потела голова. А кроме того, думали на фабрике, темные дырочки на светлом фоне — это все-таки что-нибудь да значит, чего-нибудь да стоит, это лучше, чем ничего, то есть лучше с дырочками, чем без них, решили на фабрике. Хорошо, но что еще носил наш учитель в то лето, да и вообще в лучшие месяцы тех незабываемых лет, когда мы жили с ним на одной станции, причем его дача находилась в поселке за рекой, а наша — в одном из тех поселков, которые были на том же берегу, что и станция? Довольно трудно ответить на этот вопрос, я не припомню в точности, что носил Павел Петрович. Проще сказать, чего он не носил. Норвегов никогда не носил обуви. Во всяком случае летом. И в тот жаркий день на платформе, на старой деревянной платформе, он легко мог бы занозить себе ногу, или сразу обе. Да, это могло произойти с каждым, но только не с нашим

учителем, понимаешь, он был такой небольшой, хрупкий, и когда ты видел его бегущим по дачной тропинке или по школьному коридору, тебе казалось, будто его босые ноги совсем не касаются земли, пола, а когда он стоял в тот день посреди деревянной платформы, казалось он не стоит вовсе, но как бы висит над ней, над ее щербатыми досками, над всеми ее окурками, отгоревшими спичками, тщательно обсосанными палочками от эскимо, использованными билетами и высохшими, а потому невидимыми, пассажирскими плевками разных достоинств. Позволь мне перебить тебя, возможно я что-то не так понял. Разве Павел Петрович ходил босиком даже в школу? Нет, я очевидно оговорился, я имел ввиду, что он ходил босиком на даче, но, может быть, он не надевал обуви и в городе, когда шел на работу, а мы и не замечали. А может и замечали, но это не слишком бросалось в глаза. Да, почему-то не слишком, в таких случаях многое зависит от самого человека, а не от тех, кто на него смотрит, да, я вспоминаю, не слишком. Но как бы там ни было в школьные сезоны, ты определенно знаешь, что уж летом-то Норвегов ходил без обуви. Вот именно. Как заметил однажды наш отец, лежа в гамаке с газетой в руках, на кой хрен сдалась Павлу обувь, да еще в такую жару! Это только мы, бедолаги казенные, – продолжал отец, – все никак отдохнуть ногам не даем: не сапоги так галоши, не галоши так сапоги – так и мучаешься весь век. Дождь на улице – суши, значит, ботинки, солнце – смотри, значит, чтоб не потрескались. А главное – всякий день с утра возишься с гуталином. А Павел – человек вольный, мечтательный, он и умирать-то на босу ногу станет. Бездельник он, твой Павел, – сказал нам отец, – потому и босяк. Все деньги, небось, на дачу извел, в долгах сплошь, а все туда же – рыбу ловить, на берегу прохлаждаться, тоже мне – дачник фиговый. У него и дом-то нашего сарая плоше, а он еще и флюгер на крышу поставил, подумать только – флюгер! Я его, дурака, спрашиваю: зачем, мол, флюгер-то, трещит только напрасно. А он мне оттуда, с крыши: да мало ли, гражданин прокурор, что случится может, например, говорит, ветер дует-дует в одну сторону да и переменится вдруг. Вам-то, говорит, хорошо, вы, смотрю, все газеты читаете, там, конечно про это пишут, про погоду то есть, а я, знаете,

не выписываю ничего, так что для меня флюгер — вещь абсолютно необходимая. Вы-то, говорит, из газет сразу узнаете, если что не так, а я по флюгеру ориентироваться буду, куда уж точнее, точнее и быть не может, — рассказывал наш отец, лежа в гамаке с газетой в руках. Потом отец вылез из гамака, пошагал — руки-за-спину — среди сосен, переполненных горячей смолой и земляными соками, сорвал на грядке и съел несколько клубник, посмотрел на небо, где в тот момент не оказалось ни облаков, ни самолетов, ни птиц, зевнул, помотал головой и сказал, имея ввиду Норвегова: ну, пусть бога благодарит, что не я его директор, попрыгал бы он у меня, поизучал бы он у меня ветер кое-где, балбес малохольный, босяк, флюгер несчастный. Бедняга географ, наш отец не испытывал к нему ни малейшего уважения, вот что значит не носить обуви. Правда, к тому времени, когда мы встретились с Норвеговым на платформе, ему, Павлу Петровичу, было, по всей видимости, уже безразлично, уважает его наш отец или не уважает, поскольку к тому времени его, нашего наставника, не существовало, он умер весной такого-то, то есть за два с лишним года до нашей с ним встречи на этой самой платформе. Вот я и говорю, у нас что-то не так со временем, давай разберемся. Он долго болел, у него была тяжелая продолжительная болезнь, и он прекрасно знал, что скоро умрет, но не подавал виду. Он оставался самым веселым, а точнее — единственным веселым человеком в школе, и без конца шутил. Он говорил, что ощущает себя настолько худым, что боится, как бы его не унес какой-нибудь случайный ветер. Врачи, — смеялся Норвегов, — запретили мне подходить я ветряным мельницам ближе, чем на километр, но запретный плод сладок: меня ужасно к ним тянет, они стоят совсем рядом с моим домом, на полынных холмах, и когда-нибудь я не выдержу. В дачном поселке, где я живу, меня называют ветрогоном и флюгером, но скажите, разве так уж плохо слыть ветрогоном, особенно если ты — географ. Географ даже обязан быть ветрогоном, это его специальность, — как вы считаете, мои молодые друзья? Не поддаваться унынию, — задорно кричал он, размахивая руками, — не так ли, жить на полной велосипедной скорости, загорать и купаться, ловить бабочек и стрекоз, самых разноцветных, особенно тех великолепных

траурниц и желтушек, каких так много у меня на даче! Что же еще, – спрашивал учитель, похлопывая себя по карманам, чтобы найти спички, папиросы и закурить, – что же еще? Знайте, други, на свете счастья нет, ничего подобного, ничего похожего, но зато – господи! – есть же в конце концов покой и воля. Современный географ, как впрочем и монтер, и водопроводчик, и генерал, живет всего однажды. Так живите по ветру, молодежь, побольше комплиментов дамам, больше музыки, улыбок, лодочных прогулок, домов отдыха, рыцарских турниров, дуэлей, шахматных матчей, дыхательных упражнений и прочей чепухи. А если вас когда-нибудь назовут ветрогоном, – говорил Норвегов, гремя на всю школу найденным коробком спичек, – не обижайтесь: это не так уж плохо. Ибо чего убоюсь перед лицом вечности, если сегодня ветер шевелит мои волосы, освежает лицо, задувает за ворот рубашки, продувает карманы и рвет пуговицы пиджака, а завтра – ломает ненужные ветхие постройки, вырывает с корнем дубы, возмущает и вздувает водоемы и разносит семена моего сада по всему свету, – убоюсь ли чего я, географ Павел Норвегов, честный загорелый человек из пятой пригородной зоны, скромный, но знающий дело педагог, чья худая, но все еще царственная рука с утра до вечера вращает пустопорожнюю планету, сотворенную из обманного папье-маше! Дайте мне время – я докажу вам, кто из нас прав, я когда-нибудь так крутану ваш скрипучий ленивый эллипсоид, что реки ваши потекут вспять, вы забудете ваши фальшивые книжки и газетенки, вас будет тошнить от собственных голосов, фамилий и званий, вы разучитесь читать и писать, вам захочется лепетать, подобно августовской осинке. Гневный сквозняк сдует названия ваших улиц и закоулков и надоевшие вывески, вам захочется правды. Завшивевшее тараканье племя! Безмозглое панургово стадо, обделанное мухами и клопами! Великой правды захочется вам. И тогда приду я. Я приду и приведу с собой убиенных и униженных вами и скажу: вот вам ваша правда и возмездие вам. И от ужаса и печали в лед обратится ваш рабский гной, текущий у вас в жилах вместо крови. Бойтесь Насылающего Ветер, господа городов и дач, страшитесь бризов и сквозняков, они рождают ураганы и смерчи. Это говорю вам я, географ пятой пригородной

зоны, человек, вращающий пустотельый картонный шар. И говоря это, я беру в свидетели вечность – не так ли, мои юные помощники, мои милые современники и коллеги, – не так ли?

Он умер весной такого-то в своем домике с флюгером. В тот день мы должны были сдавать последний экзамен за такой-то класс, как раз его экзамен, географию. Норвегов обещал подъехать к девяти, мы собрались в коридоре и ждали учителя до одиннадцати, но он все не приходил. Директор школы Перилло сказал, что экзамен переносится на завтра, поскольку Норвегов, повидимому, заболел. Мы решили навестить его, но никто из нас не знал городской адрес наставника, и мы спустились в учительскую к завучу Тинберген, которая тайком живет в нашей квартире и пляшет по утрам в прихожей, но которую ни ты, ни я ни разу не видели, ибо стоит только смело распахнуть дверь из комнаты в прихожую, как оказываешься – распахнуть смело! – во рву Миланской крепости и наблюдаешь летание на четырех крыльях. День чрезвычайно солнечный, причем Леонардо в старом неглаженном хитоне стоит у кульмана с рейсфедером в одной руке и с баночкой красной туши – в другой, и наносит на ватманский лист кое-какие чертежи, срисовывает побеги осоки, который сплошь поросло илистое и сырое дно рва (осока доходит Леонардо до пояса), делает один за другим наброски баллистических приборов, а когда немного устает, то берет белый энтомологический сачок и ловит черных стрекоз, чтобы подробно изучить строение их глазной сетчатки. Художник смотрит на тебя хмуро, он как будто всегда чем-то недоволен. Ты хочешь покинуть ров, вернуться назад, в комнату, ты уже поворачиваешься и пытаешься отыскать в отвесной стене рва дверь, обитую дерматином, но мастер успевает удержать тебя за руку и, глядя тебе в глаза, говорит: домашнее задание: опиши челюсть крокодила, язык колибри, колокольню Новодевичьего монастыря, опиши стебель черемухи, излучину Леты, хвост любой поселковой собаки, ночь любви, миражи над горячим асфальтом, ясный полдень в Березове, лицо вертопраха, адские кущи, сравни колонию термитов с лесным муравейником, грустную судьбу листьев – с серенадой венецианского гондолье-

ра, а цикаду обрати в бабочку; преврати дождь в град, день — в ночь, хлеб наш насущный дай нам днесь, гласный звук сделай шипящим, предотврати крушение поезда, машинист которого спит, повтори тринадцатый подвиг Геракла, дай закурить прохожему, объясни юность и старость, спой мне песню, как синица за водой по утру шла, обрати лицо свое на север, к новгородским высоким дворам, а потом расскажи, как узнает дворник, что на улице идет снег, если дворник целый день сидит в вестибюле, беседует с лифтером и не смотрит в окно, потому что окна нет, да, расскажи, как именно; а кроме того, посади у себя в саду белую розу ветров, покажи учителю Павлу, и если она понравится ему, — подари учителю Павлу белую розу, приколи цветок ему на ковбойку или на дачную шляпу, сделай приятное ушедшему в никуда человеку, порадуй своего старого педагога — весельчака, балагура и ветрогона. О Роза, скажет учитель, белая Роза Ветрова, милая девушка, могильный цвет, как хочу я нетронутого тела твоего! В одну из ночей смущенного своею красотой лета жду тебя в домике с флюгером за синей рекой, адрес: дачная местность, пятая зона, найти почтальона Михеева, спросить Павла Норвегова, звонить многократно велосипедным звонком, ждать лодку с туманного берега, жечь сигнальный костер, не унывать. Лежа над крутым песчаным обрывом в стоге сена, считать звезды и плакать от счастья и ожидания, вспоминать детство, похожее на можжевеловый куст в светлячках, на елку, увешанную немыслимой чепухой, и думать о том, что совершится под утро, когда минует станцию первая электричка, когда проснутся с похмельными головами люди заводов и фабрик и, отплевываясь, и проклиная детали машин и механизмов, нетрезво зашагают мимо околостанционных прудов к пристанционным пивным ларькам — зеленым и синим. Да, Роза, да, скажет учитель Павел, то, что случится с нами в ту ночь, будет похоже на пламя, пожирающее ледяную пустыню, на звездопад, отраженный в осколке зеркала, которое вдруг выпало во тьме из оправы, дабы предупредить владельца о близкой смерти. Это будет похоже на свирель пастуха и на музыку, что еще не написана. Приди ко мне, Роза Ветрова, неужели тебе не дорог твой старый учитель, шагающий по долинам небытия и по взгорьям страданий. Приди, чтобы

унять трепет чресел твоих и утолить печали мои. И если наставник Павел скажет так, – говорит тебе Леонардо, – то известишь меня об этом в ту же ночь, и я докажу всем на свете, что во времени ничто находится в прошлом и будушем и ничего не имеет от настояшего, и в природе сближает с невозможным, отчего, по сказанному, не имеет существования, поскольку там, где было бы ничто, должна была бы налицо быть пустота, но тем не менее, – продолжает художник, – при помощи мельниц произведу я ветер в любое время. А тебе последнее задание: этот прибор, похожий на гигантскую черную стрекозу – видишь? он стоит на пологом травянистом холме – испытаешь завтра над озером и наденешь в виде пояса длинный мех, чтобы при падении не утонул ты. И тогда ты отвечаешь художнику: дорогой Леонардо, боюсь, я не смогу выполнить ваших интересных заданий, разве что задание, связанное с узнаванием дворником того факта, что на улице идет снег. На этот вопрос я могу ответить любой экзаменационной комиссии в любое время столь же легко, сколь вы можете произвести ветер. Но мне, в отличие от вас, не понадобится ни одной мельницы. Если дворник с утра до вечера сидит в вестибюле и беседует с лифтером, а окна в вестибюле йок, что по-татарски значит нет, то дворник узнает, что на улице, а точнее сказать – над улицей, или на улицу идет снег по снежинкам на шапках и воротниках, которые спешно входят с улицы в вестибюль, торопясь на встречу с начальством. Они, несущие на одежде своей снежинки, делятся обычно на два типа: хорошо одетые и плохо, но справедливость торжествует – снег делится на всех поровну. Я заметил это, когда работал дворником в Министерстве Тревог. Я получал всего шестьдесят рублей в месяц, зато прекрасно изучил такие хорошие явления, как снегопад, листопад, дождепад и даже градобой, чего не может, конечно же, сказать о себе никто из министров или их помощников, хотя все они и получали в несколько раз больше моего. Вот я и делаю простой вывод: если ты министр, ты не можешь как следует узнать и понять, что делается на улице и в небе, поскольку, хоть у тебя и есть

в кабинете окно, ты не имеешь времени посмотреть в него: у тебя слишком много приемов, встреч и телефонных звонков. И если дворник легко может узнать о снегопаде по снежинкам на шапках посетителей, то ты, министр, не можешь, ибо посетители оставляют верхнюю одежду в гардеробе, а если и не оставляют, то пока они дожидаются лифта и едут в нем, снежинки успевают растаять. Вот почему тебе, министру, кажется, будто на дворе всегда лето, а это не так. Поэтому, если ты хочешь быть умным министром, спроси о погоде у дворника, позвони ему по телефону в вестибюль. Когда я служил дворником в Министерстве Тревог, я подолгу сидел в вестибюле и беседовал с лифтером, а Министр Тревог, зная меня как честного, исполнительного сотрудника, время от времени позванивал мне и спрашивал: это дворник такой-то? Да, отвечал я, такой-то, работаю у вас с такого-то года. А это Министр Тревог такой-то, говорил он, работаю на пятом этаже, кабинет номер три, третий направо по коридору, у меня к вам дело, зайдите на пару минут, если не заняты, очень нужно, поговорим о погоде.

Да, кстати, мало того, что я служил с ним в одном министерстве, мы еще были, а возможно являемся и сейчас, соседями по даче, то есть по дачному поселку, дача Министра наискосок от нашей. Я из осторожности употребил здесь два слова: были и являемся, что означает есть, поскольку — хотя врачи утверждают будто я давно выздоровел — до сих пор не могу с точностью и определенно судить ни о чем таком, что хоть в малейшей степени связано с понятием время. Мне представляется, у нас с ним, со временем, какая-то неразбериха, путаница, все не столь хорошо, как могло бы быть. Наши календари слишком условны и цифры, которые там написаны, ничего не означают и ничем не обеспечены, подобно фальшивым деньгам. Почему, например, принято думать, будто за первым января следует второе, а не сразу двадцать восьмое. Да и могут ли вообще дни следовать друг за другом, это какая-то поэтическая ерунда — череда дней. Никакой череды нет, дни приходят когда какому вздумается, а бывает, что и несколько сразу. А бывает, что день долго не приходит. Тогда живешь в пустоте, ничего не понимаешь и сильно болеешь. И другие тоже,

тоже болеют, но молчат. Еще я хотел бы сказать, что у каждого человека есть свой особый, не похожий ни на чей, календарь жизни. Дорогой Леонардо, если бы вы попросили меня составить календарь м о е й жизни, я принес бы листочек бумаги со множеством точек: весь листок был бы в точках, одни точки, и каждая точка означала бы день. Тысячи дней – тысячи точек. Но не спрашивайте меня, какой день соответствует той или иной точке: я ничего про это не знаю. Не спрашивайте также, на какой год, месяц или век жизни составил я свой календарь, ибо я не знаю, что означают упомянутые слова, и вы сам, произнося их, тоже не знаете этого, как не знаете и такого определения времени, в истинности которого я бы не усомнился. Смиритесь! ни вы, ни я и никто из наших приятелей не можем объяснить, что мы имеем ввиду, рассуждая о времени, спрягая глагол е с т ь и разлагая жизнь на вчера, сегодня и завтра, будто эти слова отличаются друг от друга по смыслу, будто не сказано: завтра – это лишь другое имя сегодня, будто нам дано осознать хоть малую долю того, что происходит с нами здесь, в замкнутом пространстве необъяснимой песчинки, будто все, что здесь происходит, есть, является, существует – действительно, на самом деле е с т ь, я в л я е т с я, с у щ е с т в у е т. Дорогой Леонардо, недавно (сию минуту, в скором времени) я плыл (плыву, буду плыть) на весельной лодке по большой реке. До этого (после этого) я много раз бывал (буду бывать) там и хорошо знаком с окрестностями. Была (есть, будет) очень хорошая погода, а река – тихая и широкая, а на берегу, на одном из берегов, куковала кукушка (кукует, будет куковать), и она, когда я бросил (брошу) весла, чтобы отдохнуть, напела (напоет) мне много лет жизни. Но это было (есть, будет) глупо с ее стороны, потому что я был совершенно уверен (уверен, буду уверен), что умру очень скоро, если уже не умер. Но кукушка не знала об этом и, надо полагать, моя жизнь интересовала ее в гораздо меньшей степени, чем ее жизнь – меня. Итак, я бросил весла и, считая якобы свои годы, задал себе несколько вопросов: как называется эта влекущая меня к дельте река, кто есть я, влекомый, сколько мне лет, как мое имя, какой день нынче и какого, в сущности, года, а также: лодка, вот лодка, обычная лодка – но чья? и отчего именно

лодка? Уважаемый мастер, то были простые, но такие мучительные вопросы, что я не смог ответить ни на один и решил, что у меня приступ той самой наследственной болезни, которой страдала моя бабушка, бывшая бабушка. Не поправляйте, я умышленно употребляю тут слово б ы в ш а я вместо п о к о й н а я, согласитесь, первое звучит лучше, мягче и не так безнадежно. Видите ли, когда бабушка еще была с нами, она иногда теряла память, так обычно случалось, если она долго смотрела на что-нибудь необыкновенно красивое. И вот тогда на реке я подумал: вокруг, наверное, слишком красиво и поэтому я, как бабушка, потерял память и не в состоянии ответить себе на самые обычные вопросы. Спустя несколько дней я поехал к лечащему доктору Заузе и посоветовался, спросил совета. Доктор сказал мне: знаете, дружок, у вас без сомнения было то самое, бабушкино. Плюньте вы на этот загород, сказал он, перестаньте туда ездить, что вы там потеряли, в самом-то деле. Но доктор, – сказал я, – там красиво, красиво, я хочу туда. В таком случае, – сказал он, снимая, а может надевая очки, – я запрещаю вам туда ездить. Но я не послушал его. По-моему он из той категории жадных людей, что сами любят бывать в хороших местах и желали бы, чтобы никто кроме них туда не ездил. Я, конечно, пообещал ему никуда из города не уезжать, а сам уехал, как только меня выписали, и жил на даче все оставшееся лето и даже кусочек осени, пока на участках не начали жечь костры из опавших листьев, а часть опавших листьев не поплыла по нашей реке. В те дни вокруг стало настолько красиво, что я не мог выходить даже не веранду: стоило мне посмотреть на реку и увидеть, какие разноцветные леса на том, норвеговском, берегу, как я начинал плакать и ничего не мог с собой поделать. Слезы текли сами собой, и я не мог сказать им – нет, а внутри было неспокойно и горячо (отец потребовал, чтобы мы с матерью вернулись в город – и мы вернулись), но то, что произошло тогда, на реке, в лодке, больше не повторялось – ни летом, ни осенью, и вообще с тех пор никогда. Ясное дело, я могу что-нибудь забыть: вещь, слово, фамилию, дату, но только тогда, на реке, в лодке, я забыл все сразу. Но, как я сейчас понимаю, то состояние было все же не бабушкино, а какое-то другое, мое собственное, может не изучен-

ное пока врачами. Да, я не мог ответить себе на поставленные вопросы, но поймите: это вовсе не означало потерю памяти, это бы еще куда ни шло. Дорогой Леонардо, все было гораздо серьезнее, а именно: я находился в одной из стадий исчезновения. Видите ли, человек не может исчезнуть моментально и полностью, прежде он превращается в нечто отличное от себя по форме и по сути – например, в вальс, в отдаленный, звучащий чуть слышно вечерний вальс, то есть исчезает частично, а уж потом исчезает полностью.

Где-то на поляне расположился духовой оркестр. Музыканты уселись на свежих еловых пнях, а ноты положили перед собой, но не на пюпитры, а на траву. Трава высокая и густая и сильная, как озерный камыш, и без труда держит нотные тетради, и музыканты без труда различают все знаки. Ты не знаешь это наверное, возможно, что никакого оркестра на поляне нет, но из-за леса слышится музыка и тебе хорошо. Хочется снять обувь свою, носки, встать на цыпочки и танцевать под эту далекую музыку, глядя в небо, хочется, чтобы она никогда не переставала. Вета, милая, вы танцуете? Конечно, дорогой, я так люблю танцевать. Так позвольте же пригласить вас на тур. С удовольствием, с удовольствием, с удовольствием! Но вот на поляну являются косари. Их Инструменты, их двенадцатиручные косы, тоже блестят на солнце, но не золотом, как у музыкантов, а серебром. И косари начинают косить. Первый косарь приближается к трубачу и, наладив косу, – музыка играет – резким махом срезает те травяные стебли, на которых лежит нотная тетрадь трубача. Тетрадь падает и закрывается. Трубач захлебывается на полуноте и тихо уходит в чащу, где много родников и поют всевозможные птицы. Второй косарь направляется к волторнисту и делает то же самое – музыка играет – что сделал первый: срезает. Тетрадь волторниста падает. Он встает и уходит следом за трубачем. Третий косарь широко шагает к фаготу: и его тетрадь – музыка играет, но становится тише – тоже падает. И вот уже трое музыкантов бесшумно, гуськом, идут слушать птиц и пить родниковую воду. Скоро следом – музыка играет пиано – идут: корнет, ударные, вторая и третья труба, а также флейтисты, и все

они несут инструменты – каждый несет свой, весь оркестр скрывается в чаще, никто не дотрагивается губами до мундштуков, но музыка все равно играет. Она, звучащая теперь пианиссимо, осталась на поляне, и косари, посрамленные чудом, плачут и утирают мокрые лица рукавами своих красных косовороток. Косари не могут работать – их руки трясутся, а сердца их подобны унылым болотным жабам, а музыка – играет. Она живет сама по себе, это – вальс, который только вчера был кем-нибудь из нашего числа: человек исчез, перешел в звуки, а мы никогда не узнаем об этом. Дорогой Леонардо, что касается моего случая с лодкой, рекой, веслами и кукушкой, то я, очевидно, тоже исчез. Я превратился тогда в нимфею, в белую речную лилию с длинным золотисто-коричневым стебелем, а точнее сказать так: я частично исчез в белую речную лилию. Так лучше, точнее. Хорошо помню, я сидел в лодке, бросив весла. На одном из берегов кукушка считала мои годы. Я задал себе несколько вопросов и собрался уже отвечать, но не смог и удивился. А потом что-то случилось во мне, там, внутри, в сердце и в голове, будто меня выключили. И тут я почувствовал, что исчез, но сначала решил не верить, не хотелось. И сказал себе: это неправда, это кажется, ты немного устал, сегодня очень жарко, бери греби и греби домой. И попытался взять весла, протянул я ним руки, но ничего не получилось: я видел рукояти, но ладони мои не ощущали их, дерево гребей протекало через мои пальцы, через их фаланги, как песок, как воздух. Нет, наоборот, я, мои бывшие, а теперь не существовавшие ладони обтекали дерево подобно воде. Это было хуже, чем если бы я стал призраком, потому что призрак, по крайне мере, может пройти сквозь стену, а я не прошел бы, мне было бы нечем пройти, от меня ведь ничего не осталось. И опять неверно: что-то осталось. Осталось желание себя прежнего, и пусть я не сумел вспомнить, кем я жил до исчезновения, я чувствовал, что тогда, то есть до жизнь моя текла интересней, полнее, и хотелось стать снова тем самым неизвестным, забытым таким-то. Лодку прибило волнами к берегу в пустынном месте. Пройдя по пляжу несколько шагов, я оглянулся: на песке не осталось ничего похожего на мои следы. И все-таки я еще не хотел верить. Мало ли, как бывает,

во-первых, может оказаться, что все это сон, во-вторых, возможно, что песок здесь необычайно плотный и я, весящий всего столько-то килограммов, не оставил на нем следов из-за своей легкости, и в-третьих, вполне вероянто, что я и не выходил еще из лодки на берег, а до сих пор сижу в ней и, естественно, не мог оставить следов там, где меня еще не было. Но затем, когда я посмотрел вокруг и увидел, какая красивая у нас река, какие замечательные старые ветлы и цветы растут на том и на этом берегу, я сказал себе: ты — несчастный изолгавшийся трус, ты испугался, что исчез и решил обмануть себя, придумываешь нелепости и прочее, ты должен, наконец, стать честным, как Павел, он же и Савл. То, что произошло с тобой — никакой не сон, это ясно. Дальше: если бы ты весил даже не столько-то, а в сто раз меньше, то и в таком случае твои следы остались бы на песке. Но ты не весишь отныне и грамма, ибо тебя нет, ты просто исчез, и если хочешь убедиться в этом, оглянись еще раз и посмотри в лодку: ты увидишь, что и в лодке тебя тоже нет. Да, нет, отвечал я другому себе (хотя доктор Заузе пытался доказать мне, будто никакого другого меня не существует, я не склонен доверять его ни на чем не основанным утверждениям), да, в лодке меня нету, но зато там, в лодке, лежит белая речная лилия с золотисто-коричневым стеблем и желтыми слабоароматными тычинками. Я сорвал ее час тому у западных берегов острова, в заводи, где подобных лилий, а также желтых кувшинок столь много, что их не хочется трогать, лучше сидеть в лодке просто так, смотреть на них, на каждую в отдельности или на все вместе. Можно увидеть там и синих стрекоз, называемых по-латыни симпетрум, быстрых и нервных жуков-водомеров, похожих на пауков-косиножек, а в осоке плавают утки, честное слово, дикие утки. Они какие-то пестрые, с перламутровым отливом. Там есть и чайки: они спрятали свои гнезда на острове, среди так называемых плакучих ив, плакучих и серебристых, и нам ни разу не удавалось найти ни одного гнезда, мы даже не представляем себе, как оно выглядит — гнездо речной чайки. Зато мы знаем, как чайка ловит рыбу. Птица летит довольно высоко над водой и глядит в глубину, где рыбы. Птица хорошо видит рыбу, но рыба не видит птицу, а видит только мошку и комара, которым

нравится летать над самой водой (пьют сладкий сок кувшинок), рыба питается ими. Она время от времени выпрыгивает из воды и глотает одного-двух комаров, а в этот момент птица, сложив крылья, падает с высоты и ловит рыбу и уносит ее в своем клюве в свое гнездо, гнездо чайки. Правда, иногда птице не удается схватить рыбу, тогда птица опять набирает нужную высоту и продолжает лететь, глядя в воду. Там она видит рыбу и свое отражение. Это другая птица, думает чайка, очень похожая на меня, но другая, она живет по ту сторону реки и всегда вылетает на охоту вместе со мной, она тоже ловит рыбу, а гнездо этой птицы – где-то на обратной стороне острова, прямо под нашим гнездом. Она – хорошая птица, размышляет чайка. Да, чайки, стрекозы, водомеры и тому подобное – вот что есть у западных берегов острова, в заводи, где я сорвал нимфею, которая лежит теперь в лодке, увядая.

Но для чего ты сорвал ее, разве была какая-то необходимость, ты же не любишь – я знаю, – не любишь собирать цветы, а любишь только наблюдать их или осторожно трогать рукой. Конечно, я не должел был, я не хотел, поверь мне, сначала не хотел, никогда не хотел, мне казалось, что если я когда-нибудь сорву ее, то случится что-то неприятное – со мной или с тобой, или с другими людьми, или с нашей рекой, например, разве она не может иссякнуть? Ты произнес сейчас странное слово, что ты сказал, что это за слово – с я к у. Нет, тебе показалось, послышалось, было не такое слово, похожее на это, но не такое, я уже не могу вспомнить. А о чем я вообще говорил только что, ты не мог бы помочь мне восстановить нить моего рассуждения, она оборвана. Мы беседовали о том, как однажды Трахтенберг отвинтила кран в ванной и куда-то его спрятала, а когда пришел смотритель, он долго стоял в ванной и смотрел. Он долго молчал, потому что ничего не понимал. Вода текла, шумела и ванна постепенно наполнялась, и вот смотритель спросил Трахтенберг: где кран? И старая женщина отвечала ему: у меня есть патефон (неправда, патефон есть только у меня), а крана нет. Но ведь крана нет и у ванной, сказал смотритель. Об этом, гражданин, судить вам, я же вам не ответчик, – и ушла

в комнату. А смотритель подошел к двери и начал стучать, но ни Трахтенберг, ни Тинберген не открывала ему. Я же стоял в прихожей и думал, и когда смотритель обернулся ко мне и спросил, что делать, я сказал: стучите, и вам откроют. Он опять стал стучать и Трахтенберг вскоре открыла ему, и он опять поинтересовался: где кран? Я не знаю, возражала ему старая Тинберген, спросите у молодого человека. И она указала своим костлявым пальцем в мою сторону. Смотритель заметил: возможно, у паренька не все дома, но, сдается мне, он не настолько глуп, чтобы отвинчивать краны, это сделали вы, и я пожалуюсь домоуправу Сорокину. Тинберген расхохоталась смотрителю в лицо. Зловеще. И смотритель ушел жаловаться. Я же стоял в прихожей и размышлял. Здесь, на вешалке, висели пальто и головные уборы, здесь стояли два контейнера для перевозки мебели. Эти вещи принадлежали соседям, то есть Трахтенберг-Тинберген и ее экскаваторщику. Во всяком случае замасленная кепка-восьмиклинка была точно его, потому что сама старуха носила только шляпы. Я нередко стою в прихожей и рассматриваю всякие предметы на вешалке. Мне кажется, что они добрые и с ними уютно, и я совсем не боюсь их, когда в них никто не одет. Еще я думаю о контейнерах, из какого они дерева, сколько стоют и на каком поезде и по какой ветке их привезли в наш город.

Дорогой ученик такой-то, я, автор книги, довольно ясно представляю себе тот поезд – товарный и длинный. Его вагоны, по преимуществу коричневые, были исписаны мелом – буквы, цифры, слова, целые фразы. Видимо на некоторых вагонах работники в специальных железнодорожных костюмах и фуражках с оловянными кокардами делали выкладки, заметки, расчеты. Предположим, поезд уже несколько суток стоит в тупике и еще неизвестно – никто не знает этого – когда он снова поедет, и никто не знает – куда. И вот в тупик приходит комиссия, смотрит на пломбы, бьет молотками по колесам, заглядывает в буксы, проверяя, нет ли трещин в металле и не подмешал ли кто песок в масло. Комиссия спорит, ругается, ей давно надоела ее однообразная работа, и она с удовольствием ушла бы на пенсию. А

сколко же лет до пенсии? – размышляет комиссия. Она берет кусок мела и пишет на чем попало, обычно на одном из вагонов: год рождения – такой-то, трудовой стаж – такой-то, значит, до пенсии столько-то. Потом на работу выходит следующая комиссия, она очень задолжала своим коллегам из первой комиссии, вот отчего вторая комиссия не спорит и не ругается, а старается делать все тихо и даже не пользуется молотками. Этой комиссии грустно, она тоже достает из кармана мел (здесь я должен в скобках заметить, что станция, где происходит действие, никогда, даже во времена мировых войн, не могла пожаловаться на нехватку мела. Ей, случалось, недоставало шпал, дрезин, спичек, молибденовой руды, стрелочников, гаечных ключей, шлангов, шлагбаумов, цветов для украшения откосов, красных транспорантов с необходимыми лозунгами в честь того или совершенно иного события, запасных тормозов, сифонов и поддувал, стали и шлаков, бухгалтерских отчетов, амбарных книг, пепла и алмаза, паровозных труб, скорости, патронов и марихуаны, рычагов и будильников, развлечений и дров, граммофонов и грузчиков, опытных письмоводителей, окрестных лесов, ритмичных расписаний, сонных мух, щей, каши, хлеба, воды. Но мела на этой станции всегда было столько, что, как указывалось в заявлении телеграфного агентства, понадобится составить столько-то составов такой-то грузоподъемностью каждый, чтобы вывезти со станции весь потенциальный мел. Вернее не со станции, а из меловых карьеров в районе станции. А сама станция называлась М е л, и река – туманная белая река с меловыми берегами – не могла называться иначе как М е л. Короче, все здесь, на станции и в поселке, было построено на этом мягком белом камне: люди работали в меловых карьерах и шахтах, получали меловые, перепачканные мелом рубли, из мела строили дома, улицы, устраивали меловые побелки, в школах детей учили писать мелом, мелом мыли руки, умывались, чистили кастрюли и зубы и, наконец, умирая, завещали похоронить себя на поселковом кладбище, где вместо земли был мел и каждую могилу украшала меловая плита. Надо думать, поселок Мел был на редкость чистый, весь белый и прибранный, и над ним постоянно висели облака и тучи, беременные меловыми дождями, и когда они выпадали,

поселок становился еще белее и чище, то есть совсем белым, как свежая простыня в хорошей больнице. Что же касается больницы, то она и была тут хорошая и большая. В ней болели и умирали шахтеры, больные особой болезнью, которую в разговоре друг с другом называли меловой. Пыль мела попадала рабочим в легкие, проникала в кровь, и кровь становилась слабой и жидкой. Люди бледнели, лица светились в сумраке ночных смен бело и призрачно, в часы передач и свиданий светились в окнах больницы на фоне изумительно чистых занавесок, прощально светились на фоне предсмертных подушек, а потом лица светились только на фотографиях в семейных альбомах. Снимок наклеивался на отдельной странице и кто-нибудь из домашних старательно обводил его черным карандашом. Рамка получалась неровной, но торжественной. Однако вернемся ко второй железнодорожной комиссии, которая достает из кармана мел, и – закроем скобки) и пишет на вагоне: Петрову – столько-то, Иванову – столько-то, Сидорову – столько-то, итого – столько-то меловых рублей. Комиссия идет дальше и на каких-то вагонах и платформах пишет слово проверено, а на других – проверить, ибо нельзя же проверить все сразу, есть же, в самом-то деле, и третья комиссия: пусть она и проверит оставшиеся вагоны. Но кроме комиссий на станции есть некомиссии, иначе говоря, люди, не являющиеся членами комиссий, они стоят вне этого, заняты на других работах или вообще не служат. Тем не менее они тоже не могут побороть в себе желание взять кусочек мела и что-нибудь написать на стенке вагона – деревянной и теплой от солнца. Вот идет солдат в пилотке, направляется к вагону: до дембеля два месяца. Появляется шахтер, белая рука выводит лаконичное гады. Двоечник пятого класса, кому, быть может, жить труднее, чем нам всем вместе взятым: Марья Степанна – сука. Станционная рабочая в оранжевой безрукавке, которая обязана подвинчивать гайки и подметать виадуки, сбрасывая мусор вниз, на рельсы, умеет рисовать море. Она рисует на вагоне волнистую линию, и правда – получается море, а старик-нищий, что не умеет ни петь, ни играть на гармони, а купить шарманку до сих пор не собрался, пишет два слова: вам спасибо. Какой-то парень, пьяный и кудлатый, узнавший стороной об измене

подружки, в отчаянии: Валю любили трое. Наконец поезд выходит из тупика и движется по перегонам России. Он составлен из проверенных комиссиями вагонов, из чистых и бранных слов, кусочков чьих-то сердечных болей, памятных замет, деловых записок, бездельных графических упражнений, из смеха и клятв, из воплей и слез, из крови и мела, из белым по черному и коричневому, из страха смерти, из жалости к дальним и ближним, из нервотрепки, из добрых побуждений и розовых мечтаний, из хамства, нежности, тупости и холуйства. Поезд идет, на нем едут контейнеры Шейны Соломоновны Трахтенберг, и вся Россия, выходя на проветренные перроны смотрит ему в глаза и читает начертанное – мимолетную книгу собственной жизни, книгу бестолковую, бездарную, скучную, созданную руками некомпетентных комиссий и жалких, оглупленных людей. Спустя сколько-то дней поезд прибывает в наш город, на товарную станцию. Сотрудники железнодорожной почты озабочены: им нужно сообщить Шейне Трахтенберг, что контейнеры с мебелью наконец-то получены. На дворе дождь, небо все в тучах. В специальной почтовой конторе у так называемой границы станции горит стосвечевая лампочка, она рассеивает полумрак и создает уют. В помещении конторы – несколько озабоченных конторщиков в голубой форме. Они озабоченно греют чай на электрической плитке и озабоченно пьют его. Пахнет бечевкой, сургучом, оберточной бумагой. Окно смотрит на ржавые запасные пути, меж шпал пробивается трава и растут какие-то мелкие, но прекрасные цветы. Глядеть на них из окна очень приятно. Форточка открыта, поэтому хорошо слышны некоторые характерные для узловой станции звуки: рожок сцепщика, лязг фаркопфов и буферов, шипение пневматических тормозов, команды диспетчера, а также разного рода гудки. Слышать все это тоже приятно, особенно если ты профессионал и можешь объяснить природу любого из звуков, его смысл и значение. А ведь конторщики почтовой железнодорожной конторы и есть профессионалы, у них за плечами масса путевых километров, все они в свое время служили начальниками почтовых вагонов или работали проводниками тех же вагонов, а кое-кто даже на международных линиях и, как принято говорить, повидали свет и знают что к чему. И если явиться и спросить

их начальника, так ли это...

Да, дорогой автор, именно так: придти к нему домой, позвонить звучным велосипедным звонком у дверей – пусть он услышит и откроет. Кто там? Там—там, здесь живет Начальник такой-то? Здесь. Открывайте, пришли, чтобы спросить и получить правдивый ответ. Кто? Те Кто Пришли. Приходите завтра, сегодня уже поздно, мы с женой спим. Проснитесь, ибо наступила пора сказать правду. О ком, о чем? О ребятах вашей конторы. Почему ночью? Ночью все звуки слышнее: крик младенца, стон умирающего, полет Найтингейла, кашель трамвайного констиктора: проснитесь, откройте и отвечайте. Подождите, я надену пижаму. Надевайте, она вам очень к лицу, симпатичная клеточка, шили или покупали? Не помню, не знаю, следует поинтересоваться у жены, мама, пришли Те Кто Пришли, они хотели бы знать про пижаму, шили или покупали, а если да, то где и почем. Да шили нет покупали шел снег было холодно мы возвращались из кино и я подумала что вот у мужа и в эту зиму не будет теплой пижамы заглянула в универмаг а ты остался на улице купить бананов за ними очередь была и я не особенно торопилась посмотрела сначала ковры и записалась на полтора метра на метр семьдесят пять на через три года потому что фабрику закрыли на ремонт а потом в мужском нижнем белье увидела сразу эту пижаму и китайские кальсоны с сорочкой лохматые такие и все не решу что лучше вообще-то мне больше нравились кальсоны и недорогие и цвет хороший в них и спать можно и на работу поддеть и дома ходить но ведь мы с соседями живем значит в прихожую или на кухню уже не выйдешь а в пижаме все-таки и прилично и мило даже вот и выписала пижаму на улицу возвращаюсь а ты еще за бананами стоишь и говорю тебе дай мол деньги я пижаму выписала а ты говоришь да не надо зачем барахло наверно какое-нибудь нет говорю не барахло вовсе а очень приличная вещь импортная с деревянными пуговицами ступай сам погляди а впереди тебя какая-то дама пожилая в жакетке стояла с клипсами полная такая седоватая она обернулась и говорит вы идете идите не бойтесь я все время

буду стоять если что так я скажу что вы тут были за мной а насчет пижамы говорит вы зря с супругой спорите я эту пижаму знаю очень стоящая покупка будет я на прошлой неделе всей семье такие купила отцу купила брату купила мужу купила а одну зятю в Гомель отправила он теперь на курсах там учится так что и не думайте даже покупайте и дело с концом потому что иной раз приспичит ищешь эту самую пижаму по всему городу а тебе говорят зайдите в конце месяца зайдите в конце месяца заходишь в конце месяца а тебе говорят вчера были продали так что и не думайте даже жене после спасибо скажете а очередь я подержу не бойтесь и ты говоришь тогда ну ладно пойдем посмотрим мы в универмаг заходим и я спрашиваю ну как нравится а ты плечами как-то так пожимаешь и отвечаешь не знаю черт его знает ничего вроде пижама только странная почему-то в клетку и брюки по-моему узковатые это ты говоришь а продавщица услышала молоденькая симпатечная и предлагает да вы говорит померяйте прикиньте кабина-то у нас для чего поставлена не для меня же я взяла пижаму она на плечиках на деревянных висела пошли за занавеску там три зеркала больших ты когда раздеваться стал то снежинки все то есть не снежинки уже а капельки они прямо все зеркала забрызгали я из-за занавески высуналась и кричу продавщице девушка у вас тряпочка есть какая-нибудь а она а для чего вам а я да зеркало протереть нужно а она а что забрызгали да немножко на улице же снег идет а у вас в магазине так тепло что растаяло все она тогда достала из-под прилавка фленельку желтенькую нате говорит и спрашивает потом ну что примерили а я говорю да нет еще примеряем пока я вам скажу когда все готово будет вы уж загляните тогда посоветуйте может брюки правда узковатые потом я смотрю а ты уже в пижаме весь и вертишься в разные стороны даже присел два раза чтобы в паху проверить ну как спрашиваю а ты да все вроде толком вот брюки узковатые разве немного да и клетка тревожная какая-то не наша еще бы говорю импортная же вещь и продавщицу зову посоветоваться у нее покупателей как-раз полно она сейчас сейчас отзывается а сама не идет и не идет тогда ты говоришь я сам к ней пойду а я не пускаю ты что неудобно народ кругом а ты отвечаешь ну и что народ что они пижамы что ли не видели у них у самих у каждого

по десять пар что страшного-то говоришь что мы сами не народ что ли и выходишь из кабины и девушку спрашиваешь как мол ничего сидит а она как на вас шили очень даже берите не пожалеете такого размера всего полтора комплекта осталось к вечеру ничего не будет берут очень тогда ты спрашиваешь мне кажется брюки немного узковатые а вам как кажется девушка отвечает а это фасон такой самый теперь модный куртка длинная и широковатая а брюки наоборот но если захотите так перешить же можно где расставить а вот тут например на куртке я бы наоборот в оборку взяла потому что куртка в талии действительно чуть широкая да вам жена сделает или в ателье снесите и меня спрашивает у вас машинка есть дома есть только неважная она раньше у меня зингеровская ножная была материна еще а когда дочь замуж выходила я ей подарила не жалею конечно но немного все же жалко но дочке тоже ведь необходимо у них теперь маленький растет ему то да се пошить иногда требуется пусть конечно шьет дочка на зингеровской а мы себе другую купим новая совсем электрическая но трудно на ней работать то ли она плохая то ли я не привыкла строчка на ней неровная выходит нитку рвет но уж лучше не ней чем в ателье нести в ателье же долго да и дорого так что дома подошьем разумеется а девушка говорит конечно подшейте дома вечер один посидеть и все зато хорошая получится не на один год хватит и тебя спрашивает а вам-то самому нравится ты улыбнулся даже застеснялся по-моему да нормальная пижама говоришь чего там тогда девушка тебе а вы на железной дороге небось работаете мы с тобой переглянулись откуда мол она догадалась и я вопрос ей задаю вы как узнали интересуюсь очень просто отвечает у вашего мужа фуражка на голове форменная с молотком и ключом разводным а у меня брат тоже на поездах пригородные линии обслуживает придет иногда вечером и все рассказывает про работу где какое крушение произошло где что интересно я даже завидую ему каждый день что-то новое а здесь одно и то же деться некуда брать-то будете говорит я тогда прошу ее вы пижаму пожалуйста заверните нам а я сейчас выбью пойду а она да вы сначала выбейте я и заверну сразу я пошла выбила в кассе очередь была а ты пижаму снял в кабине и смотрю несешь уже ей на плечиках она стала заворачивать ленточкой даже

перевязала неправда мама неправда я все вспомнил это была бечевка я еще подумал как у нас на работе мы пакуем бандероли и перевязываем посылки у нас ее целые мотки и катушки всегда есть никогда не кончается сколько угодно хорошей бечевки это была бечевка там в магазине там у девушки там там работаем с превышением графика не беспокойтесь заходите заглядывайте проверяйте звоните велосипедным звонком в любое время посмотрим бечевку почитаем японских поэтов Николаев Семен знает их наизусть и вообще умница много читает.

Горит стосвечевая лампочка, пахнет сургучем, веревкой, бумагой. За окном – ржавые рельсы, мелкие цветы, дождь и звуки узловой станции. Действующие лица. Начальник Такой-то – человек с видами на повышение. Семен Николаев – человек с умным видом. Федор Муромцев – человек обычного вида. Эти, а также Остальные Железнодорожники сидят за общим столом и пьют чай с баранками. Те Кто Пришли стоят в дверях. Говорит Начальник Такой-то: Николаев, пришли Те Кто Пришли, они желали бы послушать стихи или прозу японских классиков. С. Николаев, открывая книгу: у меня с собой совершенно случайно Ясунари Кавабата, он пишет: "Неужели здесь такие холода? Очень уж вы все закутаны. Да, господин. Мы все уже в зимнем. Особенно морозно по вечерам, когда после снегопада наступит ясная погода. Сейчас, должно быть, ниже нуля. Уже ниже нуля? Н-да, холодно. До чего не дотронешься, все холодное. В прошлом году тоже стояли большие холода. До двадцати с чем-то градусов ниже нуля доходило. А снегу много? В среднем снежный покров – семь-восемь сяку, а при сильных снегопадах более одного дзе. Теперь, наверное, начнет сыпать. Да, сейчас самое время снегопадов, ждем. Вообще-то снег выпал недавно, покрыл землю, а потом подтаял, опустился чуть ли не на сяку. Разве сейчас тает? Да, но теперь только и жди снегопадов". Ф. Муромцев: вот так история, Семен Данилович, вот так рассказец. С. Николаев: это не рассказец, Федор, это отрывок из романа. Начальник Такой-то: Николаев, Те Кто Пришли хотели бы еще. С. Николаев: пожалуйста, вот наугад: "Девушка

сидела и била в барабан. Я видел ее спину. Казалось, она совсем близко – в соседней комнате. Мое сердце забилось в такт барабану. Как барабан оживляет застолье! – сказала сорокалетняя, тоже смотревшая на танцовщицу". Ф. Муромцев: подумать только, а? С. Николаев: я прочту еще, это стихи одного японского поэта, это дзенский поэт Доген. Ф. Муромцев: дзенский? понятно, Семен Данилович, но вы не назвали даты его рождения и смерти, назовите, если не секрет. С. Николаев: извините, я сейчас вспомню, вот они: 1200-1253. Начальник Такой-то: всего пятьдесят три года? С. Николаев: но каких! Ф. Муромцев: каких? С. Николаев, вставая с табуретки: "Цветы весной, кукушка летом. И осенью – луна. Холодный чистый снег зимой". (Садится). Все. Ф. Муромцев: Все? С. Николаев: все. Ф. Муромцев: почему-то немного, Семен Данилович, а? Маловато. Может там еще что-то есть, возможно, оборвано? С. Николаев: нет, все, это такая специальная форма стихотворения, есть стихи длинные, поэмы, например, есть короче, а есть совсем короткие, в несколько строк, или даже в одну. Ф. Муромцев: а почему, зачем? С. Николаев: да как тебе сказать, – лаконизм. Ф. Муромцев: вот оно что, значит, я так понимаю, если сравнительно брать: идут по дистанции составы – идут или не идут? С. Николаев: ну, идут. Ф. Муромцев: а ведь они тоже разные. Есть такие длинные, что конца не дождешься, чтобы полотно перейти, а есть короткие (загибает пальцы на руке), раз, два, три, четыре, пять, да, пять, скажем, вагонов или платформ – годится? тоже, стало быть, лаконизм? С. Николаев: в общем-то, да. Ф. Муромцев: ну вот, разобрались. Как вы говорите: холодный чистый снег зимой? С. Николаев: зимой. Ф. Муромцев: это уж точно, Цунео Данилович, у нас зимой всегда снегу хватает, в январе не меньше девяти сяку, а в конце сезона на два дзе тянет. Ц. Николаев: два не два, а полтора-то уж точно будет. Ф. Муромацу: чего там полтора, Цунео-сан, когда два сплошь да рядом. Ц. Накамура: это как сказать, смотря где, если у насыпи с наветренной стороны, то конечно. А в полях гораздо меньше, полтора. Ф. Муромацу: ну, полтора так полтора, Цунео-сан, зачем спорить. Ц. Накамура: смотри-ка, дождь все не кончается. Ф. Муромацу: да, дождит, неважная погода. Ц. Накамура: вся станция мокрая, одни лужи кругом, и когда только высохнет. Ф. Муромацу: в такую слякоть без зонтика лучше и не появляйся на

улицу – насквозь промочит. Ц. Накамура: в прошлом году в это время была точно такая погода, у меня в доме протекла крыша, промокли все татами, и я никак не мог повесить их во дворе посушить. Ф. Муромацу: беда, Цунео-сан, такой дождь никому не идет на пользу, он только мешает. Правда, говорят, что это очень хорошо для риса, но человеку, особенно городскому, такой дождь приносит одни неприятности. Ц. Накамура: мой сосед из-за этого дождя уже неделю не встает, болеет, кашляет. Врач сказал, что если будет лить еще какое-то время, то соседа придется отправить в больницу, иначе он никогда не выздоровеет. Ф. Муромацу: для больного нет ничего хуже дождя, воздух становится влажным и болезнь усиливается. Ц. Накамура: сегодня утром жена хотела пойти в лавку босиком, но я попросил ее надеть гета, ведь здоровье не купишь ни на какие деньги, а заболеть проще всего. Ф. Муромацу: правильно господин, дождь холодный, без обуви и думать нельзя выходить, в эти дни нам всем следует поберечь себя. Ц. Накамура: немного саке не повредило бы нам, как ты думаешь? Ф. Муромацу: да, только совсем немного, одна-две порции, это оживило бы застолье не хуже барабана. Начальник Такой-то:Те Кто Пришли интересуются судьбой некоторых контейнеров. С. Николаев: каких именно? Начальник Такой-то: Шейны Трахтенберг, Ф. Муромцев: пришли, мы озабочены, нужно писать открытку, они стоят под открытым небом, дождь, они промокнут насквозь, ей нужно писать, вот бланк, вот адрес. Семен Данилович, пишите.

Уважаемая Шейна Соломоновна, – читал я, стоя в прихожей, которая казалась в то время почти огромной, потому что контейнеров еще не было, – уважаемая Шейна Соломоновна, мы, сотрудники почтовой железнодорожной конторы, имеем сообщить вам, что над всем нашим городом, а также над его окрестными местами, наблюдается затяжной предосенний дождь. Везде мокро, проселочные дороги развезло, листья деревьев пропитались влагой и пожелтели, а колеса паровозов, вагонов, дрезин сильно поржавели. В такие дни всем трудно, особенно нам, людям железной дороги. И все-таки мы решили не сбиваться с хорошего рабочего ритма,

план свой выполняем, стараемся строго придерживаться обычного графика. И результаты налицо: несмотря на то, что глубина некоторых луж у нас на станции достигла двух-трех сяку, мы отправили за последнее время не меньше писем и бандеролей, чем это было сдалано за тот же период прошлого года. В заключение спешим уведомить Вас, что на станцию прибыли два контейнера на Ваше имя, и просим в срочном порядке организовать их отгрузку со двора нашей конторы. С уважением. Зачем ты рассказал мне об этом, я не хотел бы думать, что ты способен читать чужие письма, ты огорчил меня, скажи мне правду, может быть, ты придумал этот случай, я же знаю — ты любишь сочинять разные истории, в разговорах с тобой я тоже многое выдумываю. Т а м, в больнице, Заузе ужасно смеялся над нами, что мы такие фантазеры. Больной такой-то, смеялся он, честно говоря, я не встречал человека здоровее вас, но ваша беда вот в чем: вы невероятный фантазер. И тогда мы отвечали ему: в таком случае вы не можете столь долго держать нас, мы требуем скорейший выписки из вверенного вам з д е с ь. Тут он сразу становился серьезным и спрашивал: ну хорошо, предположим, я завтра вас выпишу, но что вы собираетесь делать, чем будете заниматься, пойдете работать или вернетесь в школу? А мы отвечали: в школу? о нет, мы поедем за город, ибо у нас есть дача, вернее, не столько у нас, сколько у наших родителей, там немыслимо великолепно, час двадцать, ожидание ветра, песок и вереск, река и лодка, весна и лето, чтение в травах, легкий завтрак, кегли и оглушительно много птиц. Потом — осень, весь поселок в дымке, но — не подумайте — не туман и не дым, а прекрасная летучая паутина. Утром — роса на страницах оставленной в саду книги, прогулка за керосином на станцию. Но, доктор, мы даем вам честное слово, что не будем пить пиво в зеленом ларьке у пруда, где плотина. Нет, доктор, мы не любим пиво. Знаете, мы подумали и о вас, вы, наверное, тоже смогли бы убыть туда на несколько дней. Мы договоримся с отцом, и он не откажет. Вот, вы приедете на семичасовом, а мы встретим вас на специальном велосипеде с коляской. Понимаете, старый велосипед, а сбоку — коляска от небольшого мотоцикла. Но вероятно, что коляски не будет: еще не известно, как достать такую коляску. Но велосипед — есть. Он стоит в сарае, там же находится

бочка с керосином и две пустые, мы иногда кричим в них. Там есть и доски, есть разные садовые инструментарии и бабушкино кресло, то есть, нет, простите, не так, отец всегда просил нас говорить наоборот: кресло бабушки. Так почтительнее, объяснял он. Однажды он сидел в этом самом кресле, а мы сидели рядом, на траве, и читали разные книги, да доктор, вы же в курсе, нам трудно читать долго одну книгу, мы читаем сначала одну страницу одной книги, а потом одну страницу другой. Затем можно взять третью книгу и тоже прочитать одну страницу, а уже потом снова вернуться к первой книге. Так легче, меньше устаешь. И вот мы сидели на траве с разными книгами, и в одной какой-то книге было кое-что написано, мы сначала не поняли ничего, о чем это, потому что древняя довольно книга, сейчас таким языком никто не пишет, и мы сказали: папа, объясни нам, пожалуйста, мы не понимаем, что здесь написано. И тогда отец оторвался от газеты и спросил: ну, что там у тебя, снова ерунда какая-нибудь? И вот мы прочитали вслух: в ы п р о с и л у Б о г а с в е т л у ю Р у с ь с а т о н а, д а ж е о ч е р в л е н и т ю к р о в и ю м у ч е н и ч е с к о ю. Д о б р о, т ы, д и а в о л, в з д у м а л, и н а м т о л ю б о – Х р и с т а р а д и, н а ш е г о с в е т а, п о с т р а д а т ь. Мы почему-то запомнили эти слова, у нас память вообще-то плохая, вы знаете, но если что-нибудь понравится, то сразу запоминаем. А отцу не понравилось. Он вскочил с кресла, выхватил у нас ту книгу и закричал: откуда, откуда, черт бы тебя взял, что за галиматья дурацкая! А мы отвечали: вчера мы ездили на ту сторону, там живет наш учитель, и он поинтересовался, чем мы заняты и что читаем. Мы сказали, что ты дал нам несколько томов такого-то современного классика. Учитель засмеялся и побежал к реке. Потом вернулся, и с его больших веснущатых ушей капала вода. Павел Петрович сказал нам: дорогой коллега, как славно, что имя, произнесенное вами не далее как минуту назад, растворилось, рассеялось в воздухе, будто дорожная пыль, и звуки эти не услышит тот, кого мы называем Насылающим, как хорошо, дорогой коллега, не так ли, иначе, что было бы с этим замечательным стариком, он наверняка упал бы от ярости со своего велосипеда, а затем не оставил бы от наших уважаемых поселков камня на камне, и, впрочем, недурно бы сделал, потому что время. Что же

касается моих влажных ушей, которые вы так внимательно изучаете, то они оттого мокры, что я умыл их в водах зримого вами водоема, дабы очистить от скверны упомянутого имени и встретить грядущее небытие в белизне души, тела, помыслов, языка и ушей. Мой молодой друг, ученик и товарищ, — сказал нам учитель, — в горьких ли кладезях народной мудрости, в сладких ли речениях и речах, в прахе отверженных и в страхе приближенных, в скитальческих сумах и иудиных суммах, в движении о т и в стоянии н а д, во лжи обманутых и в правде оболганных, в войне и мире, в мареве и мураве, в стадиях и студиях, в стыде и страданиях, во тьме и свете, в ненависти и жалости, в жизни и вне ее — во всем этом и в прочем следует хорошенько разобраться, в этом что-то есть, может быть, немного, но есть. Там и сям, там и сям что-то произошло, мы не можем сказать с уверенностью, что именно, ибо пока не знаем ни сути, ни имени явления, но, дорогой ученик и товарищ такой-то, когда мы выясним и вместе обсудим это, выясним причину и определим следствие, тогда придет наша пора, пора сказать некое слово — и скажем. И если случится, что вы разберетесь во всем этом первый, немедленно сообщите, адрес вы знаете: стоя над рекой на закате дня, когда умирают укушенные змеей, звонить велосипедным звонком, а лучше — звенеть деревенской косой, приговаривая: коси, коса, пока роса, или: косикоси, ножка, где твоя дорожка, и так далее, пока загорелый учитель Павел не услышит и, приплясывая, не выйдет из дома, не отвяжет лодку, не прыгнет в нее, не возьмет в руки самодельные греби, не перегребет Лету, не сойдет на твоем берегу, не обнимет, не поцелует, не скажет добрых загадочных слов, не получит, нет, не прочитает отправленного письма, ибо его, вашего учителя, нету в живых, вот беда, вот незадача, нету в живых, а вы — живите, пока не умрете, качайте пиво из бочек и детей в колясках, дышите воздухом сосновых боров, бегайте в лугах и собирайте букеты — о цветы! как ненаглядны вы мне, как ненаглядны. Покидая сей мир, жаждал увидеть букет одуванчиков, но не дано было. Что принесли в дом мой в последний час мой, что принесли? Шелк и креп принесли, одели в ненавистный двубортный пиджак, отняли летнюю шляпу, многократно пробитую ревизорским компостером, надели какие-то брюки, дрянные — не спорьте

– дрянные брюки за пятьдесят потных рублей, я никогда не носил таких, это мерзко, липнут, тело мое не дышит, не спится, а галстук, о! они нацепили мне галстук в горошек, снимите немедленно, откройте меня и снимите хотя бы галстук, я вам не какая-нибудь канцелярская крыса, я никогда – поймите же – не ваш, не ваш – никогда не носил никаких галстуков. Неразумные, неразумные бедняги, оставшиеся жить, больные бледной немочью и мертвее меня, вы, знаю, сложились на похороны и купили весь этот шутовской наряд, да как вы посмели надеть на меня жилетку и кожаные полуботинки с металлическими полузаклепками, каких я никогда не носил при жизни, ах, вы не знали, вы полагали, будто я получаю пятьсот потных рублей в месяц и покупаю те же непотребные тряпки, что и вы. Нет, проходимцы, вам не удалось оболгать меня живого, а мертвого тем паче не удастся. Нет, я не ваш, и никогда не получал больше восьмидесяти, но то были другие, не ваши, то были ветрогоновы чистые деньги, не запятнанные ложью ваших мерзостных теорий и догм, лучше избейте меня, мертвого, но снимите это, верните мне шляпу, пробитую компостером констриктора, верните все, что изъяли, мертвому положены его вещи, дайте ковбойку, сандалии в стиле римской империи эпохи строительства акведука, их я положу под мою лысеющую голову, потому что все равно, назло вам – даже и в долинах небытия – стану ходить босой, и брюки, мои залатанные брюки – вы не имеете права, мне жарко в вашем дерьме, сдайте на комиссию ваше ничто, раздайте деньги тем, кто отдавал их, я не хочу ни копейки от вас, нет, не хочу, и не навязывайте мне галстук, иначе я плюну в ваши изъеденные червями хари своей отравленной жгучей слюной, оставьте в покое учителя географии Павла Петровича! Да, я кричу и буду кричать бессонно-всегда, я кричу о великом бессмертии великого учителя Савла, я желаю быть вам неистово-отвратительным, я буду врываться в ваши сны и явь как хулиган врывается в класс во время урока, врываться с окровавленным языком, и, неумолимый, буду кричать вам о своей недостижимой и прекрасной бедности, вы же не пытайтесь задобрить меня подарками, мне не нужны ваши потные тряпки и гнойные рубли, и прекратите музыку, или я сведу вас с ума криком честнейшего из умерших. Слушайте мой приказ, мой вопль:

дайте же мне одуванчиков и принесите мои одежды! И к черту вашу сопливую похоронную музыку, гоните пинками в зад проспиртованных оркестрантов. Вонючие дряни, могильные жуки! Заткните глотки любителям панихид, прочь от тела моего, или я восстану и сам прогоню всех поганой школьной указкой, я – Павел Петрович, учитель географии, крупнейший вращатель картонного шара, я ухожу от вас, чтобы придти, пустите!

Так говорил учитель Павел, стоя на берегу Леты. С умытых ушей его капала вода реки, а сама река медленно струилась мимо него и мимо нас вместе со всеми своими рыбами, плоскодонками, древними парусными судами, с отраженными облаками, невидимыми и грядущими утопленниками, лягушачьей икрой, ряской, с неустанными водомерами, с оборванными кусками сетей, с потерянными кем-то песчинками и золотыми браслетами, с пустыми консервными банками и тяжелыми шапками мономахов, пятнами мазута, с почти неразличимыми лицами паромщиков, с яблоками раздора и грушами печали и с маленькими обрезками ниппельных шлангов, не имея которых нельзя кататься на велосипеде, ибо ты не можешь накачать камеру, если не наденешь такую резиновую трубочку на вентильный стержень, а тогда все пропало, ведь если велосипедом невозможно пользоваться, то его как бы не существует, он почти исчезает, а без велосипеда на даче нечего делать: не съездишь за керосином, не прокатишься до пруда и обратно, не встретишь на станции доктора Заузе, прибывшего семичасовой электрчкой: он стоит на платформе, оглядывается, смотрит во все стороны, а тебя нет, хотя вы договорились, что непременно встретишь его, и вот он стоит, ждет, а ты все не едешь, поскольку не можешь найти хороший шланг, но доктор не знает об этом, впрочем, уже смутно догадывается: наверное, предполагает он, у больного такого-то что-нибудь не в порядке с веломашиной, скорее всего с ниппелем, обычная история, с этими шлангами сплошное наказание, жаль, что я не догадался купить в городе метра два-три, ему хватило бы на все лето, – размышляет доктор. Извини, пожалуйста, а что сказал нам

Павел Петрович, давая книгу, которая так не понравилась отцу? Ничего, учитель не сказал ничего. А по-моему, он сказал: книга. Даже так: вот книга. И даже больше того: вот вам книга, сказал учитель. А что сказал отец по поводу книги, когда мы передали ему наш разговор с Павлом? Отец не поверил ни одному из слов сказанных. Почему, разве мы говорили неправду? Нет, правду, но ты же знаешь отца нашего, он не верит никому, и когда я однажды заметил ему об этом, он ответил, что весь свет состоит из негодяев и только негодяев, и если бы он верил людям, то никогда бы не стал ведущим прокурором города, а работал бы в лучшем случае домоуправом, подобно Сорокину, или дачным стекольщиком. И тогда я спросил отца про газеты. А что – газеты? – отозвался отец. И я сказал: ты все время читаешь газеты. Да, читаю, – отвечал он, – газеты читаю, ну и что же. А разве там ничего не написано? – спросил я. Почему ж, сказал отец, – там все написано, что нужно – то и написано. А если, – спросил я, – там что-то написано, то зачем же читать: негодяи же пишут. И тогда отец сказал: кто негодяи? И я ответил: те, кто пишут. Отец спросил: что пишут? И я ответил: газеты. Отец молчал и смотрел на меня, я же смотрел на него, и мне было немного жаль его, потому что я видел, как он растерялся, и как по большому белому лицу его, как две черные слезы, ползли две большие мухи, а он даже не мог смахнуть их, поскольку очень растерялся. Затем он тихо сказал мне: убирайся, я не желаю тебя видеть, сукин ты сын, убирайся куда хочешь. Дело было на даче. Я выкатил из сарая велосипед, привязал к раме сачок и поехал по дорожке нашего сада. В саду уже зрели первые яблоки, и мне казалось, я видел, что в каждом из них сидят черви и без устали грызут наши, то есть отцовы, плоды. И я думал: явится осень, а собирать в саду будет нечего, останется одна гниль. Я ехал, а сад все не кончался, ибо ему все не было конца, а когда конец наступил, я увидел перед собой забор и калитку, и у калитки стояла мама. Добрый день, мама, – крикнул я, – как ты сегодня рано с работы! Бог с тобой, с какой работы, – возражала она, – я не работаю с тех пор, как ты пошел в школу, скоро четырнадцать лет. А, вот как, – сказал я, – значит, я просто-напросто забыл, я слишком долго мчался по саду, наверное, все эти годы, и многое вылетело

из головы. Знаешь, в зябликах, вернее, в яблоках нашего вертограда сидят черви, надо что-нибудь придумать, какое-нибудь средство, а то останется сплошная труха и есть будет совершенно нечего, не сваришь даже варенья. Мать глянула на мой сачок и спросила: ты что, опять поссорился с отцом? Я не хотел огорчать ее и ответил так: немного, мама, мы беседовали о первопечатнике Федорове Иоанне, я высказал убеждение, что он — аз, буки, веди, глагол, добро, еси, живите, земля, ижица и так далее, а отец не поверил и посоветовал мне поехать половить бабочек, и вот я еду. До свидания, мама, — закричал я, — еду себе, еду за луговыми желтушками, да здравствует лето, весна и цветы, величие мысли, могущество страсти, а также любви, доброты, красоты! Дин-дон, бим-бом, тик-так, тук-тук, скрип-скряп. Я недаром перечислил эти звуки, это мои любимые звуки, звуки летящего по дачной тропинке веселого велосипеда, а весь поселок уже запутался в паутине маленьких пауков, пусть до настоящей осени и было еще далеко. Но паукам все равно, до свидания, мама, не горюй, мы еще встретимся. Она крикнула: вернись! — и я оглянулся: мать тревожно стояла у калитки, и я подумал: если вернусь, ничего хорошего из этого не выйдет: мать непременно станет плакать, заставит покинуть седло велосипеда, возьмет под руку, и мы через сад возвратимся на дачу, и мать начнет мирить меня с отцом, на что потребуется еще несколько лет, а жизнь, которую в нашем и в соседних поселках принято измерять сроками так называемого в р е м е н и, днями лета и годами зимы, жизнь моя остановится и будет стоять, как сломанный велосипед в сарае, где полно старых выцветших газет, деревянных чурок и лежат ржавые плоскогубцы. Да, ты не хотел примирения с отцом нашим. Вот почему, когда мать крикнула тебе вослед в е р н и с ь! — ты не вернулся, хотя тебе было чуточку жаль ее, нашу терпеливую мать. Оглянувшись, ты увидел ее большие глаза цвета пожухлой травы, в них медленно оживали слезы и отражались какие-то высокие деревья с удивительной белой корой, тропинка, по которой ты ехал, и ты сам со своими длинными худыми руками и тонкой шеей, и ты — в своем неостановимом движении о т. Человеку со стороны, замученному химерами знаменитого математика Н. Рыбкина, составителя многих учебников и сбор-

ников задач и упражнений, человеку без воображения, без фантазии, ты показался бы в те минуты скучным велосипедистом имярек, держащим путь свой из пункта А в пункт Б, чтобы преодолеть положенное количество километров, а потом навсегда исчезнуть в облаке горячей дорожной пыли. Но я, посвященный в высокие помыслы твои и стремления, знаю, что в упомянутый день, отмеченный незаурядной солнечной погодой, ты являл собою иной, непреходящий во времени и пространстве тип велосипедиста. Непримиримость с окружающей действительностью, стойкость в борьбе с лицемерием и ханжеством, несгибаемая воля, твердость в достижении поставленной цели, исключительная принципиальность и честность в отношениях с товарищами – эти и многие другие замечательные качества ставили тебя вне обычного ряда велосипедистов. Ты был не только и не сколько велосипедистом, сколько велосипедистом-человеком, веломашинистом-гражданином. Право, мне как-то неловко, что ты так хвалишь меня. Я уверен, что совсем не стою этих красивых слов. Мне представляется даже, я неправильно поступил в упомянутый день, я, наверное, должен был вернуться на зов матери и успокоить ее, но я ехал и ехал со своим сачком, и мне было безразлично, как и куда ехать, мне было просто хорошо ехать, и как это обычно бывает со мной, когда мне никто не мешает мыслить, я просто мыслил обо всем, что видел.

Помню, я обратил внимание на чью-то дачу и подумал: вот дача, в ней два этажа, здесь кто-то живет, какая-нибудь семья. Часть семьи живет всю неделю, а часть только в субботу и в воскресенье. Потом я увидел небольшую двухколесную тележку, она стояла на опушке рощи, возле сенного стога, и я сказал себе: вот тележка, не ней можно возить разные вещи, как-то: землю, гравий, чемоданы, карандаши фабрики имени Сакко и Ванцетти, дикий мед, плоды манговых деревьев, альпенштоки, поделки из слоновой кости, дранку, собрания сочинений, клетки с кроликами, урны избирательные и для мусора, пуховики и наоборот – ядра, краденые умывальники, табели о рангах и мануфактуру

периода Парижской коммуны. А сейчас вернется некто и станет возить на тележке сено, тележка очень удобная. Я увидел маленькую девочку, она вела на веревке собаку — обыкновенную, простую собаку — они шли в сторону станции. Я знал, сейчас девочка идет на пруд, она будет купаться и купать свою простую собаку, а затем минует сколько-то лет, девочка станет взрослой и начнет жить взрослой жизнью: выйдет замуж, будет читать серьезные книги, спешить и опаздывать на работу, покупать мебель, часами говорить по телефону, стирать чулки, готовить есть себе и другим, ходить в гости и пьянеть от вина, завидовать соседям и птицам, следить за метеосводками, вытирать пыль, считать копейки, ждать ребенка, ходить к зубному, отдавать туфли в ремонт, нравиться мужчинам, смотреть в окно на проезжающие автомобили, посещать концерты и музеи, смеяться, когда не смешно, краснеть, когда стыдно, плакать, когда плачется, кричать от боли, стонать от прикосновений любимого, постепенно седеть, красить ресницы и волосы, мыть руки перед обедом, а ноги — перед сном, платить пени, расписываться в получении переводов, листать журналы, встречать на улицах старых знакомых, выступать на собраниях, хоронить родственников, греметь посудой на кухне, пробовать курить, пересказывать сюжеты фильмов, дерзить начальству, жаловаться, что опять мигрень, выезжать за город и собирать грибы, изменять мужу, бегать по магазинам, смотреть салюты, любить Шопена, нести вздор, бояться пополнеть, мечтать о поездке за границу, думать о самоубийстве, ругать неисправные лифты, копить на черный день, петь романсы, ждать ребенка, хранить давние фотографии, продвигаться по службе, визжать от ужаса, осуждающе качать головой, сетовать на бесконечные дожди, сожалеть об утраченном, слушать последние известия по радио, ловить такси, ездить на юг, воспитывать детей, часами простаивать в очередях, непоправимо стареть, одеваться по моде, ругать правительство, жить по инерции, пить карвалол, проклинать мужа, сидеть на диете, уходить и возвращаться, красить губы, не желать ничего больше, навещать родителей, считать, что все кончено, а также — что вельвет (драпбатистшелкситецсафьян) очень практичный, сидеть на бюллетене, лгать подругам и родственникам, забывать обо всем на свете, занимать деньги, жить, как

живут все, и вспоминать дачу, пруд и простую собаку. Я увидел сосну, опаленную молнией: желтые иглы. Я представил себе июльскую грозовую ночь. Сначала в поселке было тихо и душно, и все спали с открытыми окнами. Потом тайно явилась туча, она заволокла здезды и привела с собой ветер. Ветер дунул – по всему поселку захлопали рамы, двери, и зазвенели разбитые стекла. Затем в полной темноте загудел дождь: он намочил крыши, сады, оставленные в садах раскладушки, матрацы, гамаки, простыни, детские игрушки, буквари – и все остальное. В дачах проснулись. Зажигали, но тут же гасили свет, ходили по комнатам, смотрели в окна и говорили друг другу: ну и гроза, ну и льет. Били молнии, яблоки дозревали и падали в траву. Одна молния ударила совсем рядом, никто не знал, где именно, однако сходились на том, что где-то прямо в поселке, и те, у кого на крыше не было громоотводов, давали себе слово, что завтра же поставят. А молния попала в сосну, которая жила на краю леса, но не обожгла, а лишь опалила ее, причем осветила весь лес, поселок, станцию, участок железнодорожной ветки. Молния ослепила идущие поезда, посеребрила рельсы, выбелила шпалы. А потом – о, я знаю, – потом ты увидел дом, где жила т а женщине, и ты оставил велосипед у забора и постучал в ворота: тук-тук, милая, тук-тук, вот пришел я, твой робкий, твой нежный, открой и прими меня, открой и прими, мне ничего от тебя не нужно, я только взгляну на тебя и уеду, не прогоняй меня, только не прогоняй, милая, думаю о тебе, плачу и молюсь о тебе.

Нет-нет, я ничего не скажу тебе, ты не имеешь права расспрашивать меня о моих личных делах, тебе не должно быть до той женщины никакого дела, не приставай, ты дурак, ты больной человек, я не хочу тебя знать, я позвоню доктору Заузе, пусть он отвезет тебя снова т у д а, потому что ты надоел и противен мне, кто ты такой, почему ты лезешь ко мне с расспросами, перестань, лучше перестань или я что-нибудь с тобой сделаю, что-нибудь нехорошее. Не притворяйся, будто ты не знаешь, кто я такой, если ты называешь ме-

ня сумасшедшим, то ты сам точно такой же сумасшедший, потому что я – это ты сам, но ты до сих пор не хочешь понять этого, и если ты позвонишь доктору Заузе, тебя отправят т у д а вместе со мной, и ты не сможешь видеть ту женщину два или три месяца, а когда мы выпишемся, я приду к той женщине и скажу о тебе всю правду, я скажу ей, что тебе вовсе не столько-то лет, как ты утверждаешь, а всего столько-то, и что ты учишься в школе для дураков не по собственному желанию, а потому, что в нормальную школу тебя не приняли, ты болен, как и я, ужасно болен, ты почти идиот, ты не можешь выучить ни одного стихотворения, и пусть женщина немедленно бросит тебя, навсегда оставит стоять одного на темном пригородном перроне, да, снежной ночью, когда все фонари разбиты и все электрические поезда ушли, и я скажу ей: тот человек, который хочет вам понравиться, не достоин вас, и вы не можете быть с ним, поскольку он никогда не сможет быть с вами как с женщиной, он обманывает вас, он сумасшедший сопляк, плохой ученик спецшколы, и не в состоянии выучить ничего наизусть, и вы, тридцатилетняя серьезная женщине, вы должны забыть, оставить его на заснеженном перроне ночью и отдать предпочтение мне, настоящему человеку, взрослому мужчине, честному и здоровому, ибо я очень хотел бы этого и без труда выучиваю наизусть любое стихотворение и решаю любую задачу жизни. Врешь, это подлость, ты не скажешь ей так, потому что ничем не отличаешься от меня, ты такой же, такой же глупый и неспособный и учишься вместе со мной в одном классе, ты просто решил избавиться от меня, ты любишь ту женщину, а я мешаю тебе, но у тебя ничего не получится, я сам приду к ней и расскажу всю правду – о себе и о тебе, я признаюсь, что люблю ее хотел бы всегда, целую жизнь быть с ней, хотя ни разу, никогда не пробовал быть ни с одной женщиной, но, наверное, да, конечно, для нее, для той женщины, это не имеет значения, ведь она так красива, так умна – нет, не имеет значения! и если я даже не сумею быть с ней как с женщиной, она простит мне, ведь это не нужно, не обязательно, а про тебя я скажу ей так: скоро к вам явится человек чем-то похожий на меня, он постучит в дверь: тук-тук, он попросит, чтобы вы бросили меня одного на заснеженном перроне, потому что я больной, но, пожалуйста, пожалуйста,

скажу я, не верьте ему, ничему не верьте, он сам рассчитываем быть с вами, но он не имеет на это никакого права, потому что гораздо хуже меня, вы поймете это сразу, как только он явится и заговорит, так не верьте же ему, не верьте, в связи с тем, что его нет на свете, не существует, не имеет места, не есть, нет его, нет, милая, один я, один пришел к тебе, тихий и светлый, добрый и чистый, так скажу я ей, а ты, ты, которого нет, запомни: у тебя ничего не выйдет: ты любишь ту женщину, но не знаешь ее, не знаешь, где она живет, не знаешь ее имени, как же ты придешь к ней, безмозглый дурак, ничтожество, несчастный ученик спецшколы! Да, я люблю, я наверное люблю ту женщину, но ты в заблуждении, ты уверен, что я не знаю ее, и где она живет, а я – знаю! ты понял меня? я знаю о ней все, даже ее имя. Ты не можешь, ты не должен знать это имя, ее имя знаю только я – один на всем свете. Ты просчитался: Вета, ее зовут Вета, я люблю женщину по имени Вета Акатова.

Когда наши дачи окутает сумрак, и небесный ковш, опрокинувшись над землей, прольет свои росы на берега восхитительной Леты, я выхожу из дома отца моего и тихо иду по саду – тихо, чтобы не разбудить тебя, странного человека, живущего рядом со мной. Я крадусь по своему старому следу, по травам и по песку, стараясь не наступать на пылающих светляков и на спящих стрекоз симпетрум. Я спускаюсь к реке, и мое отражение улыбается мне, когда я отвязываю от корявой ветлы отцовскую лодку. Я смазываю уключины густой и темной водой, почерпнутой из реки, – и путь мой лежит за вторую излучину, в Край Одинокого Козодоя, птицы хорошего лета. Путь мой ни мал, ни велик, я сравню его с ходом тусклой швейной иглы, сшивающей облако, ветром разъятое на куски. Вот я плыву, качаясь на волнах призрачных пароходов, вот я миную первую излучину и вторую и, бросив весла, гляжу на берег: он плывет мне навстречу, шурша камышами и покрякивая добрым утиным голосом. Доброй ночи, Берег Одинокого Козодоя, это я, каникулярный ученик специальной школы – такой-то, разреши мне, разреши мне оставить у твоих замечательных камышовых котов

лодку отца моего, позволь мне пройти по тропинкам твоим, я хотел бы навестить женщину по имени Вета. Я поднимаюсь на высокий холмистый берег и шагаю в сторону высокого глухого забора, за которым укадывается дом с веселыми деревянными бешенками по углам, но только угадывается, на самом деле в такую темную ночь среди тугих сплетений акаций и других высоких кустарников и дерев не различишь ни самого дома, ни башенок. Лишь на втором этаже, в мансарде, ясно и зелено горит и светит идущему мне лампа Веты Аркадьевны, моей загадочной женщины Веты. Я знаю место, где можно легко перелезть через забор, я перелезаю через него и слышу, как по высоким газонам парка мне навстречу бежит ее простая собака. Я достаю из кармана кусок колотого сахару и даю собаке, – лохматая, желтая, она машет хвостом и смеется, она знает, как я люблю мою Вету, и никогда меня не укусит. И вот я подхожу к самому дому. Это очень большая дача, в ней много комнат, ее построил отец Веты, натуралист, старый ученый с мировый именем, который в молодости пытался доказать, что так называемые г а л л ы – вздутия на различных частях растений – не что иное, как жилища вредных личинок насекомых, и что вызываются они, галлы, главным образом, уколами различных ос, комаров и жуков-слоников, которые откладывают в эти растения свои яйца. Но ему, академику Акатову, мало кто верил, и однажды к нему в дом пришли какие-то люди в заснеженных пальто, и академика куда-то надолго увели, и где-то там, неизвестно где, били по лицу и в живот, чтобы Акатов никогда больше не смел утверждать всю эту чепуху. А когда его отпустили, выяснилось, что прошло уже много лет и он состарился и плохо стал видеть и слышать, зато вздутия на различных частях растений остались, и все эти годы, как убедились люди в заснеженных пальто, во вздутиях действительно жили вредные личинки, вот почему они, личинки, то есть нет, люди, а может быть те и другие вместе, решили отпустить академика, а также выдать ему поощрительную премию, чтобы он построил себе дачу и спокойно, без помех, исследовал галлы. Акатов так и поступил: построил дачу, посадил на участке цветы, завел собаку, развел пчел и исследует галлы. А сейчас, в ночь моего прихода в

Край Одинокого Козодоя, академик затерялся в одной из спален особняка и спит, не зная, что я пришел и стою под окном его дочери Веты и шепчу ей: Вета Вета Вета это я ученик специальной школы такой-то отзовись я люблю тебя.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ТЕПЕРЬ

рассказы, написанные на веранде

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ. Он уезжал в армию. Он понимал, что три года не пройдут для него быстро: они будут похожи на три северные зимы. И не важно, куда его пошлют служить, пусть даже на юг, – все равно любой год из трех окажется невероятно длинной снежной зимой. Он думал так сейчас, когда шел к ней. Она не любила его. Она была слишком хороша, чтобы любить его. Он знал это, но ему недавно исполнилось восемнадцать, и он не мог не думать о ней каждую минуту. Он замечал, что думает о ней постоянно, и радовался, что ничего не хочет от нее, и значит действительно любит. Эта история продолжалась два года; он удивлялся, что не хочет думать больше ни о чем, и это не надоедает. А вообще-то, размышлял он, с этим надо кончать. Сегодня его провожают в армию, а завтра он уедет куда-нибудь далеко, в три зимы, и все там забудет. Он ей не напишет ни одного письма: она все равно не ответит. Вот он придет к ней и все ей расскажет. Он вел себя страшно глупо. Вечерами он гулял под ее окнами допоздна, а когда окна гасли, зачем-то еще стоял и стоял, глядя на черные стекла. Потом шел домой, там курил на кухне до утренних сумерек, стряхивая пепел на обшарпанный пол. Из окна виден был ночной дворик с беседкой. На беседке всегда светил фонарь, под которым прибили доску с надписью: "Летняя читальня". На рассвете взлетали голуби. Шагая в знобящих утрах призывной осени, он ощущал странную невесомость тела, которая сплеталась в его сознании с необъяснимостью всего, что он знал и чувствовал. В такое время он задавал себе много разных вопросов, но обычно не находил ответа ни на один – он шел к дому, где жила она. Она выходила из подъезда в половине восьмого и всегда миновала двор торопясь, а он наблюдал за ней из фанерной беседки, на которой тоже висел фонарь и

такая же доска – "Летняя читальня". Глупая вывеска, думал он, глупая, летом никто не читает в беседке. Думая так, он следовал за девушкой на таком расстоянии, чтобы она не слышала и не чувствовала его за собой. Сейчас он вспоминал все это и понимал, что сегодня последний день, когда он сможет увидеть: девушку, двор, где она живет, "Летнюю читальню" в ее дворе. Он поднимается на второй этаж и стучит в ее дверь.

ТРИ ЛЕТА ПОДРЯД. Ее отец и я – мы работали в одном театре. Ее отец был актер, а я работал рабочим сцены. Однажды после спектакля он повез меня к себе домой, угостил заграничным вином и познакомил с ней. Они жили вдвоем на втором этаже желтого двухэтажного барака. Из окна их комнаты можно было увидеть другой такой же барак и маленькое кладбище с церковью посредине. Я забыл, как звали дочку актера. Но даже если бы я помнил сейчас ее имя, то не стал бы называть: какое вам дело. Так вот, она жила в желтом бараке на окраине города и была дочерью актера. Очень может быть, что вам нет до нее никакого дела. Но тогда вы можете не слушать. Никто никого не заставляет. А если говорить серьезно, то вы можете вообще ничего не делать – и я не скажу вам ни слова. Только не старайтесь узнать ее имя, а то я вообще не буду рассказывать. Мы встречались три года: три зимы и три лета подряд. Она часто приезжала в театр и просиживала целые спектакли в полупустом зале. Я смотрел на нее, стоя за дырявой кулисой – моя девушка сидела всегда в третьем ряду. Ее отец играл маленькие эпизодические роли и появлялся не больше трех раз за все представление. Я знал, что она мечтает, чтобы отец хоть раз получил большую роль. Но я догадывался, что он не получит хорошей роли. Потому что если актер за двадцать лет не получил стоящей роли, он никогда ее не получит. Но я не говорил ей об этом. Я не говорил ей об этом ни тогда, когда мы гуляли по очень вечерним и очень зимним улицам города после спектаклей и бегали за скрипящими на поворо-

тах трамваями, чтобы согреться; ни тогда, когда мы в дождливые дни ходили в планетарий и целовались в пустом темном зале под искусственным звездным небом. Я не говорил ей об этом ни в первое лето, ни во второе, ни в третье, когда ее отец уехал на гастроли, и мы торопливыми ночами бродили на маленьком кладбище вокруг церкви, где росли сирень, бузина и верба. Я не говорил ей об этом. И еще я не говорил ей о том, что она некрасива и что я, наверное, когда-нибудь не буду гулять с ней. И еще я не говорил ей о других девушках, с которыми я встречался раньше или в другие дни того же времени. Я только говорил, что люблю ее – и любил. А может вы думаете, что можно любить только красивых девушек, или думаете, когда любишь одну, то нельзя гулять с другими? Так ведь я уже сказал вам – вы можете вообще ничего не делать в своей жизни, в том числе не гулять ни с одной девушкой на свете – и я не скажу вам ни слова. Но не в этом дело. Речь идет не о вас, а о ней. Это ей я говорил, что люблю ее. И сейчас, если я когда-нибудь встречу ее, мы пойдем с ней в планетарий или на заросшее бузиной кладбище и там, как и много лет назад, я снова скажу ей об этом. Не верите?

КАК ВСЕГДА В ВОСКРЕСЕНЬЕ. А прокурор терпеть не мог родственников. Я вставлял ему стекла, а тут понаехала на дачу родня, и он ходил по участку весь какой-то белый с газетой подмышкой. Он был белый, как те места в газете, где ничего не написано. А все в дачном поселке и в деревне за лугом знали, что он терпеть не может ни родственников, ни беспорядка, потому что где родственники там беспорядок, а где беспорядок – там и пьянка. Это он так говорит. Я сам слышал. Я вставлял ему стекла, а он в это время говорил так жене. И жена у него тоже интересная. Я ей и стекла сколько раз вставлял, и печь перекладывал, и сарай мастерил, а ни разу не угостила. Деньги дает, а насчет этого всегда ноль. Я за любую работу берусь. Я у людей гальюны чищу, а вот у прокурора не приходилось. Мне жена его не разрешает. Нечего, говорит, вам пачкаться – я сама. И правда. Раз

весной я им стекла вставляю, а она берет в сарае лопату специальную – и давай дерьмо под деревья таскать. Потом она с этим делом покончила и попросила, чтобы я замок в гальюне врезал, чтобы можно было на зиму запирать, чтобы соседи ничего зря не таскали. А то таскают, говорит, почем зря: с удобрениями, мол, сейчас тяжело. Замок я, конечно, врезал, а потом сосед ихний, товарищ прокурора, попросил меня ключ к замку прокурорскому подобрать. Ну, угостил, все как следует быть. Ну и подобрал я ему, конечно, ключ. Только потом разговор такой в комендатуре слышу, что вроде бы у прокурора гальюн обчистили, когда прокурор в городе был. А мне-то что – я в комендатуре стекла вставляю, да и все. Мне в этом поселке работы на всю жизнь хватит. Зимой шпана всякая на дачах живет – стекла бьют, печки рушат, а мне и лучше. Как снег сошел – так и у меня работа пошла. Вот и позвал меня прокурор стекла чинить. Ему наши деревенские все стекла за зиму выбили. Даже на чердаке. И еще крышу на веранде проломили. Тоже моя забота. Будет время – и крышу починю. А в тот день с утра стекла вставляю. Прокурор в гамаке газету читает – то заснет, то проснется. Жена его в то же самое время яму огромную копает посреди участка. Зачем, спрашиваю. Я, отвечает, к яме по всему участку канавки проведу, чтобы все дожди мои были. Ладно, думаю, копай, а я стекла буду вставлять. А прокурор, говорю, то заснет, то проснется, а то уйдет из гамака, подойдет к забору и переговаривается с соседом, с товарищем прокурора. Что это, товарищ прокурор, говорит товарищ прокурора, у вас стекол-то совсем ноль? Да вот, прокурор отвечает, зимой здесь ветры, наверное, сильные – ветром и выдавило. Да, товарищ прокурора говорит, я слышал, у вас недавно и гальюн обчистили? Да, прокурор говорит, обчистили – хулиганье проклятое. Жаль, товарищ прокурора говорит, неприятно. А ведь сам же, сукин кот, и обчистил. А забавный человек этот товарищ прокурора. На дачу едет – одет как человек, а только приехал – это сразу на голову колпак какой-то, на себя рвань всякую натягивает, на ноги – галоши, и веревкой подпоясывается, а галоши ве-

ревочками подвязывает. Ладно, думаю, подвязывай, а я стекла стану вставлять. А вечером я с тебя, дерьмокрада, трехрублевку сдеру. А не дашь – товарищу прокурору обо всем доложить придется. Прокурор, он ведь беспорядка терпеть не может. И родственников. А они как раз к обеду и подъехали. Прокурор – он побелел весь, говорю, даже газету перестал читать. Ходит по участку – ногами одуванчики топчет. Он и сам на одуванчика похож – круглый и как пустая газета белый, а родственников у него полно – человек девять подъехало к обеду. Все веселые, игры сразу на траве затеяли, мальчишку прокурорского в ларек сразу послали. Ну и выступили мы в тот раз с ними. Славные же люди. Кто кондуктором в городе, кто шоферит, а двое лифтеры. Еще один тренер, и еще – экскаваторщик. И с ним дочка его была. У нас с ней все хорошо получилось, в самую тютельку. И погода как раз сухая оказалась – как всегда в воскресенье.

РЕПЕТИТОР. Учитель физики жил в переулке. Он был моим репетитором, и я на троллейбусе два раза в неделю приезжала к нему, чтобы заниматься. Мы занимались в маленькой комнате в полуподвале, где учитель жил вместе с несколькими родственниками, но я никогда не видела их и ничего о них не знаю. Я сейчас расскажу о самом учителе, и еще а том, как и чем мы с ним занимались тем душным летом, и какой запах был в том переулке. В этом переулке постоянно и сильно пахло рыбой, потому что где-то рядом был магазин "Рыба". Сквозняк гнал запах по переулку, и запах проникал через открытое окно к нам в комнату, где мы рассматривали неприличные открытки. У репетитора была большая коллекция этих открыток – шесть или семь альбомов. Он специально бывал на разных вокзалах города и покупал у каких-то людей целые комплекты таких фотографий. Учитель был толстый, но красивый, и лет ему было не слишком много. В жару он потел и включал настольный вентилятор, но это не осебенно помогало, и он все равно потел. Я всегда смеялась над этим. Когда нам недоедало смотреть открытки,

он рассказывал мне анекдоты, и нам было спокойно и весело вдвоем в комнате с вентилятором. И еще он рассказывал мне про своих женщин. Он говорил, что у него в разное время было много разных женщин: большие, маленькие и разного возраста, но он до сих пор не решил, какие все-таки лучше – маленькие или большие. Когда как, говорил он, когда как, все зависит от настроения. Он рассказывал, что был на войне пулеметчиком и там, в семнадцать лет, стал мужчиной. В то лето, когда он был моим репетитором, мне тоже исполнилось семнадцать лет. В институт я не поступила, и за это мне здорово досталось от родителей. Я завалила физику и пошла медсестрой в больницу. На следующий год я поступала в другой институт, где не нужно было сдавать физику – и поступила. Правда, потом меня отчислили со второго курса, потому что застали в общежитии с одним парнем. У нас с ним ничего не было, просто мы сидели и курили, и он целовал меня, а дверь комнаты была закрыта. А когда стали стучаться, мы долго не открывали, а когда открыли, ним никто не поверил. Теперь я работаю телеграфисткой на станции. Но это неважно. Своего репетитора я не видела почти десять лет. Сколько раз я пробегала или проезжала на троллейбусе мимо его переулка, но ни разу не зашла. Я не знаю, почему так происходит в жизни, что никак не можешь сделать чего-то несложного, но важного. Несколько лет я проходила совсем близко от того дома и всегда думала о моем физике, вспоминала его смешные открытки, вентилятор, его корявую деревянную трость, с которой он для важности выходил даже на кухню посмотреть чайник. И все-таки недавно, когда мне было грустно, я зашла. Я позвонила два раза, как раньше. Он вышел, я поздоровалась, он тоже поздоровался, но почему-то не узнал меня и даже не пригласил в комнату. Я просила, чтобы он постарался вспомнить меня, напоминала, как мы смотрели открытки, говорила о вентиляторе, о том лете – он ничего не помнил. Он сказал, что когда-то у него действительно было много учеников и учениц, но теперь он не помнит почти никого. Идут, говорит, годы, идут. Он немного постарел, мой физик.

БОЛЬНАЯ ДЕВУШКА. В июле ночи можно проводить на веранде – не холодно. А печальные и большие ночные бабочки почти не мешают: их легко можно отогнать дымом сигареты. В этом рассказе, который я пишу июльской ночью на веранде, речь пойдет о больной девушке. Она очень больна. Она живет на соседней даче вместе с человеком, которого она считает своим дедушкой. Дедушка сильно пьет, он стекольщик, он вставляет стекла, ему не больше пятидесяти лет, и я не верю, что он ее дедушка. Однажды, когда я, как обычно, проводил ночь на веранде, ко мне постучалась больная девушка. Она пришла через калитку в заборе, который разделяет наши небольшие участки. Пришла через сад и постучалась. Я включил свет и отворил дверь. Лицо и руки ее были в крови – это стекольщик избил ее, и она пришла ко мне через сад, чтобы я помог ей. Я умыл ее, смазал ссадины зеленкой и напоил чаем. Она до утра просидела у меня на веранде, и мне казалось, что мы о многом успели поговорить. Но на самом деле мы молчали всю ночь, потому что она почти не умеет говорить и очень плохо слышит из-за своей болезни. Утром, как всегда, рассвело, и я проводил девушку домой по садовай тропинке. За городом, да и в Москве, я предпочитаю жить один, и тропинки вокруг моего дома едва намечены. В то утро трава в саду была белой от росы, и я пожалел, что не надел галоши. У калитки мы немного постояли. Она попыталась сказать мне что-то, но не смогла и заплакала от горечи и болезни. Девушка повернула вертушку, которая, как и весь забор, была мокрая от осеннего тумана, и побежала к своему дому. А калитка осталась открытой. С тех пор мы подружились. Она иногда приходила ко мне, и я что-нибудь рисую или пишу для нее на ватманских листках. Ей нравятся мои рисунки. Она рассматривает их и улыбается, а потом уходит домой через сад. Она идет, задевая головой ветки яблонь, оглядывается, улыбается мне или смеется. И я замечаю, что после каждого ее прихода мои тропинки обоз-

начаются, как будто, все лучше. Пожалуй и все. Больше мне нечего сказать о больной девушке из соседнего дома. Да, это небольшой рассказ. Даже совсем небольшой. Даже ночные мотыльки на веранде кажутся больше.

В ДЮНАХ. Хорошо встречаться с девушкой, мать которой работает на земснаряде: если кто-нибудь спросит, ты прямо так и скажешь – она работает на земснаряде. И каждый позавидует. Они углубляли фарватер, и круглые сутки по специльным трубам шла на берег жидкая песчаная каша со дна. Эта жижа шла на берег, и постепенно вокруг залива образовались песчаные дюны. Тут можно было загорать даже в самую ветреную погоду – лишь бы светило солнце. Я приезжал на остров на мотоцикле каждый день с утра и, стоя на самой высокой дюне, крутил над головой выцветшую ковбойку. Как только она с земснаряда замечала меня, она садилась в большую дырявую лодку, привязанную к барже, и быстро гребла к берегу. Здесь были наши, только наши дюны – потому что именно мать моей девушки намыла эти веселые сыпучие холмы. А лето было – как на цветных открытках, и пахло речной водой, ивой и смолой соснового бора. Бор был на другой стороне залива, и в конце недели там отдыхали люди с наборами бадминтона. А по заливу катались и беседовали в голубых лодках воскресные парочки. Но никто не высаживался на нашем берегу, и никто, кроме нас, не загорал в наших дюнах. Мы лежали на горячем, очень горячем песке и купались или бегали наперегонки, а земснаряд постоянно гудел, и плотная женщина в синем комбинезоне ходила по палубе, осматривая механизмы. Я глядел на нее издали, с берега, и всегда думал, что мне здорово повезло – я встречаюсь с девушкой, мать которой живет и работает на этой замечательной штуке. В августе начались дожди, и мы построили в дюнах шалаш из ивовых веток, хотя, понимаете, дело было не только в дождях. Шалаш стоял прямо у воды. Вечерами мы жгли костер – он отражался в заливе и высвечивал разные плывущие деревяшки. Ну вот, а в

самом конце лета мы поссорились, и с тех пор я ни разу не приезжал к ней. Осенью было чертовски грустно, и листья носились по всему городу как сумасшедшие. Ну что, еще по маленькой?

ДИССЕРТАЦИЯ. Творческий отпуск профессор проводил за городом. Он писал докторскую диссертацию по химии: делал выписки из книг, возился с пробирками, а между тем стоял удивительно теплый сентябрь. Кроме того, профессор любил пиво и перед обедом ходил в сарай, который стоял в глубине сада. Там, в сарае, в углу, в прохладе, была пивная бочка. С помощью резинового шланга профессор отсасывал немного пива в пятилитровый бидон и возвращался в дом, стараясь не расплескать влагу. Обед ему готовила дальняя родственница жены, явившаяся откуда-то издалека месяц назад как снег на голову, или как родственница жены, а сама жена у профессора давно умерла, и другой пока не было. Надо сказать, что завтрак и ужин готовила та же родственница жены, но обычно это бывало соответственно по утрам и вечерам, а в полдень она готовила именно обед. Во второй половине дня профессор гулял по дачному поселку или удил рыбу в пруду за березовой рощей. Рыбы в пруду не было и, как правило, профессору ничего не удавалось поймать. Но это не огорчало его, а чтобы не возвращаться домой с пустыми руками, он рвал на опушках поздние полевые цветы и составлял неплохие букеты. Вернувшись на дачу, он молча дарил цветы дальней родственнице, имя которой никак не мог вспомнить, а спросить забывал. Этой женщине было около сорока лет, но она любила знаки внимания как в двадцать, а по утрам делала зарядку за сараем. Профессор не знал об этом, но даже если бы сосед-стекольщик, который прекрасно знал об этом и не раз видал это из-за забора, даже если бы стекольщик сказал об этом профессору, тот бы ни за что не поверил, и уж во всяком случае никогда бы не стал подсматривать. Впрочем, однажды на заре ему неожиданно захотелось пива, и он на цыпочках, чтобы не шуметь, пошел в

сарай, и пока пиво по шлангу лилось из бочки в бидон, профессор стоял у запаутиненного пауками окошечка и смотрел, как родственница жены в легком купальном костюме скачет, приседает и машет руками на садовой лужайке. После завтрака профессор не работал, а занимался какой-то ерундой: достал с чердака два ржавых велосипеда, починил и накачал их, а потом погладил костюм и съездил на станцию за вином. Кроме вина, он купил шпроты и виноград и помог родственнице готовить обед. За обедом профессор говорил о том, какая замечательная погода стоит вот уже две недели, какие синие васильки растут в роще и какие замечательные ржавые велосипеды он достал с чердака. Вечером они катались. По шоссе. На велосипедах. Возвратились поздно – с цветами на рулях. На голове у родственницы был венок. Это профессор сам сплел ей венок. Это был сюрприз для нее, ведь она же не знала раньше, что он умеет плести венки и ремонтировать велосипеды. Да ведь и профессор не знал, что его, в сущности, родственница, скачет на садовой лужайке. Каждое утро. В легком купальнике. И машет руками.

МЕСТНОСТЬ. Рядом проходит железная дорога, и желтые электрические поезда идут мимо озера. Одни поезда идут в город, а другие за город. А здесь – пригород. И поэтому даже в самую солнечную погоду все тут кажется ненастоящим. За линией железной дороги, за полосой отчуждения, большими домами начинается город, а в другой стороне, за озером, растет сосновый бор. Одни называют его парком, другие – лесом. Но на самом деле это – лесопарк. Здесь пригород, и, кажется, ничего определенного вокруг не увидишь. Когда-то местность эта считалась дачной, а теперь дачи стали просто старыми деревянными домами прогорода. Дома пахнут керосином, а живут в них пожилые тихие люди. Близко к лесопарку подходит одноколейная ветка железной дороги. Ветка ведет в тупик – поезда сюда не заходят. Рельсы заржавели, а шпалы сгнили. В тупике, на опушке лесопарка, стоят коричневые вагоны. В этих вагонах живут ремонтные рабочие. У

них временная пригородная прописка, и у каждого большая семья. Любой ремонтник знает, что в заболоченном озере рядом рыба не водится, но в выходные часы все они идут с удочками на берег и пытаются что-нибудь поймать. У одного рабочего, который живет в третьем от лесопарка вагоне, дочка восемнадцати лет. Она родилась здесь, в вагоне, и ей нравится все, что связано с железной дорогой, ей нравится вся эта пригородная местность. И еще ей нравится молодой человек из города, который нередко приезжает с приятелями в лесопарк поиграть в футбол на замусоренных полянах. Он хороший парень, ухаживает за дочкой ремонтника и уже не раз заходил к ним в гости на чай. Ему тоже нравятся эти вагончики в тупике. Знаете, пожалуй он скоро женится на дочке ремонтника и станет бывать здесь еще чаще. Свадьба состоится в воскресный день, танцы устроят на берегу озера, а танцевать будут все – все, кто живет в коричневых вагончиках тупика.

СРЕДИ ПУСТЫРЕЙ. Наверху, на третьем, захлопнулась дверь, и я остался один. Через распахнутые окна в подъезд задувал ветер с пустырей, и здесь, на лестнице, было немногим теплее, чем на улице. Я закурил и вышел во двор, где на веревках сушилось белье жителей этого дома. Наволочки, простыни, пододеяльники надувались ветром. Я сел на влажную от росы скамейку: передо мной стоял невероятно длинный пятиэтажный дом: я никогда еще не видел такого длинного дома; тень от дома кончалась у моих ног. Я был освещен беспомощным солнцем сентября. По небу шли дряблые, похожие на мускулы стариков, облака, а за спиной у меня зияли бесконечные окраинные пустыри, такие бесконечные, что даже городская свалка терялась среди них и о ней напоминал только неприятный запах. Сигарета, которую я курил, быстро кончилась на ветру, а больше у меня не было, и я решил сходить в магазин. Но я не знал, где магазин. Я вообще ничего не знал здесь, у меня не было здесь ни знакомых людей, ни улиц, и я не знал, не хотел знать, что делает с моей

невестой та женщина, которая согласилась помочь нам. Та женщина жила и лечила в этом длинном однообразном доме. Пройдя по затененному двору, я обошел дом слева и выбрался на асфальтовую дорогу. Вокруг стояли новые здания, похожие на тот дом. Пожалуй, я немного боялся этих однообразных домов. Но я хотел курить и шел в магазин, делая вид, будто мне нет до них никакого дела. Да так оно и было, я только немного боялся их: они издали смотрели мне в спину и в глаза, а рядом никого не было. Но скоро я догнал девушку. Она несла две авоськи с продуктами, и я решил, что она знает, где можно купить сигарет. Я окликнул ее и спросил. Она сказала, что проводит меня до магазина, чтобы я не заблудился. Дул ветер. Зияли пустыри с домами. Возле домов на веревках болталось надутое постельное белье. На пустырях, поедая семена трав, шелестели огромные стаи воробьев. Девушка казалась очень худой, у нее что-то было с глазами, но я никак не мог разобрать, что именно, а потом понял: она была косая. Она вела меня и все объясняла, что и где находится в этом районе, но это было совершенно неинтересно и не нужно мне. Она зашла со мной в магазин, подождала, пока я куплю сигарет и сказала, что хочет проводить меня до станции, где работает телеграфисткой. Мне не нужно на электричку, сказал я, не нужно. Девушка ушла. Недалеко от магазина торговала молочная цистерна на колесах. В очереди стояли пожилые, но болтливые женщины в старомодных пальто. У каждой был бидон и все они, несмотря на холодный ветер, говорили непереставая. Одна толстуха, которая уже купила молока, отошла от цистерны, и я увидел, как она оступилась и выронила бидон. Бидон упал на асфальт, молоко выплеснулось, старуха тоже упала, покатилась. У нее было черное пальто, она сидела вся в молоке и пыталась подняться. Очередь перестала болтать и глядела на нее. Я тоже стоял и смотрел. Я наверное помог бы ей, но руки у меня были заняты: в одной сигареты, а в другой спички. Я закурил и пошел обратно, к тому дому, в котором что-то делали с моей невестой и который издали пристально смотрел мне в глаза.

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Гроб повис на зубце ковша и болтался над траншеей, и все было нормально. Но потом крышка открылась и все высыпалось на дно ямы. Тогда экскаваторщик вылез из кабины и осмотрел гроб и увидел, что в изголовье гроба было застекленное окошечко, а в гробу лежали кирзовые сапоги. И экскаваторщик очень жалел, что сапоги уже никак не починишь, иначе бы он взялся за это дело. Но сапоги оказались очень худыми, и у одного подошва сразу отлетела, как только он примерил сапог. Нитки сгнили, и подошва с подковками сразу отлетела, да и голенище худое оказалось. И машинист экскаватора выбросил сапоги, хотя ему позарез нужна была новая обувь. Но больше экскаваторщик огорчился из-за другого. Машинисту хотелось полюбоваться на череп, потому что настоящего черепа ему ни разу в жизни не приходилось видеть, а тем более трогать руками. Правда, он время от времени трогал свою собственную голову или голову жены и представлял, что если снять кожу со своей или с жениной головы, то и получится настоящий череп. Но этого нужно было ждать еще неизвестно сколько экскаваторщик терпеть не мог ждать чего-нибудь слишком долго. Он любил делать сразу все, что придет в голову. Поэтому теперь, когда машинист откопал гроб, он сразу решил вытряхнуть из него все и найти череп. Ему хотелось посмотреть, что стало с черепом человека, который давно умер и много лет лежал и смотрел в гробовое окошечко. Да, – размышлял машинист, спускаясь в могилу по стремянке, – да, теперь-то мне будет хороший череп, а то живешь-живешь, а ничего такого не имеешь. Конечно, у меня-то худая голова, но ведь не так уж часто выпадает свободное время, чтобы ощупать ее как следует. К тому же, когда трогаешь свою голову, не получаешь почти никакого удовольствия – тут нужен чистый чужой череп, без всякой там кожи, чтобы можно было вешать его хоть на палку, хоть насаживать куда будет нужно. Вот везуха! разберу сейчас тряпье, выкину кости и

возьму чистенький череп—как есть. Такие моменты в жизни не упускай, иначе, того и гляди, кто-нибудь наденет на палку твой череп и будет ходить по улицам и пугать, кого вздумается. Машинист заглянул под крышку, лежавшую на песке, потом вылез из траншеи и заглянул через окошечко в гроб, а затем посмотрел не через окошечко, а просто в гроб, как смотрят обычно в гроб, когда гроб висит на зубце ковша, а тот, кто смотрит, стоит на краю могилы. Но в гробу и под крышкой на песке черепа тоже не было. Черепа нету, — сказал себе экскаваторщик, – черепа просто-напросто нету, череп пропал, а может его никогда и не было — хоронили одним туловищем, а? Но как ни крути, черепа нету, и я не смогу насадить его на палку и пугать кого захочу. Наоборот, теперь каждый сможет пугать меня самого настоящим или своим собственным черепом. Вот невезуха! — сказал себе экскаваторщик.

СТОРОЖ. Ночь. Всегда эта холодная ночь. Его работа — ночь. Ночь — его ненависть и средство жить. Днем он спит и курит. Винтовку он никогда не заряжает. Какой резон заряжать, если зимой вокруг — никого. Никого — зимой, осенью и весной. И в домах артистов тоже никого. Это дачи артистов, а он — сторож дач. Он никогда не бывал в театре, но ему однажды рассказывал напарник, что сын его учится в городе и ходит в театр. Сын напарника: он приезжает к отцу в конце недели. А к нему — никто не приезжает. Он живет один и курит. Винтовку он берет в сторожке перед сменой и идет по аллеям дачного поселка всю ночь. Сегодня и вчера шел большой снег. Аллеи белы. Деревья, особенно сосны, — тоже. Они белы. Луна смутная. Луна не может пробить тучи. Он курит. Он смотрит по сторонам. Подолгу стоит на перекрестках. Очень темно. Никогда не будет светло в этом поселке зимой. Летом лучше. По вечерам на верандах актеры пьют вино. Но когда лета нет, веранды с тусклыми витражами закрыты и пусты. Они промерзают насквозь, их засыпает

мерзают насквозь, их засыпает снегом. А он через два вечера на третий берет незаряженную винтовку, идет. Вдоль застекленных дач. Идет без тропинок, без патронов, без курева. Идет за куревом, на окраину поселка, где магазин. В магазине всегда пусто. Там на двери сильная пружина. Там работает пожилая женщина. Она добрая, потому что дает в долг. На морозе он не помнит ее имени. Зачем она, эта женщина, думает он. Я могу без нее, думает он, или не могу? Нет, не могу. Без нее у меня не было бы чего курить. Он тихо смеется. Холодно, продолжает думать он, холодно. Темно. Он видит, как женщина закрывает ставни своего магазина и отправляется спать. Вот она идет. Я стою, говорит он себе, курю, а она идет мимо. Я хочу курить? Нет. Я курю, потому что она уходит. Все, ушла. Теперь до утра один. Кошка бежит. Когда-то их было много в поселке. Они жили в цоколях домов. Напарник перебил их из этой винтовки. Холодно. Кошек нету. Он снова идет, глядя на дома актеров. Сверху – снег. Значит будет тепло. Лишь бы не ветер. На одной веранде – свет. Актеры не приезжают зимой, думает он. Следы на участке. Забор в одном месте поломан. Две штакетины лежат на снегу крест-на-крест. Он никогда не заряжал, и сейчас тоже не будет. Он пойдет и посмотрит, в чем дело. Он подходит. Выстрел. Как будто далеко, в лесу. Нет, гораздо ближе. А, это из витража стреляли. Больно очень, голова болит. Покурить бы. Он падает лицом в снег. Ему уже не холодно.

ТЕПЕРЬ. Из армии он вернулся раньше срока, после госпиталя. Он служил в ракетных частях и однажды ночью попал под сильное облучение, ночью, во время учебной тревоги. Ему было двадцать лет. В полупустом поезде, возвращаясь домой, он подолгу сидел в ресторане, пил вино и курил. Красивая молодая женщина, которая ехала с ним в купе, совсем не стеснялась его и перед сном раздевалась, стоя перед дверным зеркалом, и он видел ее отражение, и она знала, что он видит, и улыбалась ему. В последнюю ночь пути она позвала

его к себе, вниз, но он притворился, что спит, и она догадалась об этом и тихо смеялась над ним в темноте узкого и душного купе, а тем временем поезд кричал и летел сквозь черную пургу, и пригородные уже полустанки растерянно кивали ему вослед тусклыми фонарями. Первые две недели он сидел дома – перелистывал книги, просматривал прежние, школьные еще, фотографии, пытался что-нибудь решить для себя и без конца ссорился с отцом, который жил на большую военную пенсию и не верил ни одному его слову и считал симулянтом. Выходное пособие, которое выдал полковой бухгалтер, кончилось, и нужно было искать работу. Он хотел пойти шофером в соседнюю больницу, но там, в больнице, ему предложили другое. Теперь, после армии, в конце снежной зимы, он стал санитаром в больничном морге. Ему платили семьдесят рублей в месяц, и этих денег ему хватало, потому что с девушками он не встречался, а только иногда ездил в парк, катался на чертовом колесе и смотрел, как в танцевальном зале с прозрачными стенами танцуют незнакомые люди. Однажды он заметил здесь девушку, с которой учился когда-то в одной школе. Она приехала в парк с каким-то парнем на спортивной машине, и санитар, укрывшись в сумраке больших деревьев, наблюдал, как они танцуют. Они танцевали с полчаса, потом хлопнули дверками и покатили вглубь парка по освещенным аллеям. А через несколько недель, в мае, в морг привезли мужчину и женщину, которые разбились на машине где-то за городом, и он не сразу узнал их, а затем узнал, но почему-то никак не мог вспомнить ее фамилию, и все смотрел на нее и думал о том, что три или четыре года назад, еще до армии, он любил эту девушку и хотел, очень хотел постоянно быть с ней, а она не любила его, она была слишком хороша, чтобы любить его. И теперь, думал санитар, все это кончилось, кончилось, и непонятно, что будет дальше...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

САВЛ

Но Вета не слышит. В ночь твоего прихода в Край Одинокого Козодоя тридцатилетняя учительница нашей школы Вета Аркадьевна, строгая учительница по ботанике, биологии, анатомии, танцует в лучшем ресторане города и пьет вино с каким-то молодым, да, молодым сравнительно человеком, веселым, умным и щедрым. Скоро музыка кончится – пьяные скрипачи и барабанщики, пианисты и трубачи покинут эстраду. Ресторан с приглушенными огнями рассчитает последних гостей, и тот сравнительно молодой человек, которого ты никогда в жизни не видел и не увидишь, увезет твою Вету к себе на квартиру и там сделает с ней все, что захочет. Не продолжай, я уже понял, я знаю, там, на квартире, он поцелует ей руку и потом сразу проводит домой, и утром она приедет сюда на дачу, и мы сможем увидеться, я знаю: мы увидимся с ней завтра. Нет, не так, ты, наверное, ничего не понимаешь или притворяешься, или ты просто трус, ты боишься думать о том, что случится с твоей Ветой там, на квартире человека, которого ты никогда не увидишь, а ведь тебе, конечно, хотелось бы взглянуть на него, разве я говорю неправду? Ясное дело, мне хотелось бы познакомится с ним, мы пошли бы куда-нибудь все вместе, втроем: Вета, он и я, в какой-нибудь парк города, в старый городской парк с чертовым колесом, мы бы катались и беседовали, все-таки интересно, я говорю: интересно, нам было бы интересно втроем. Но может быть тот человек не такой умный, как ты рассказываешь, и тогда было бы не так интересно, и мы бы зря потратили вечер, был бы неудачный вечер, только и всего, вот и все, но по крайней мере Вета поняла бы, что со мной гораздо интереснее, чем с ним, и никогда больше не встречалась бы с ним, а в ночь моего прихода в Край Одинокого Козодя всегда выходила бы на мой зов: Вета Вета Вета это я ученик специальной школы такой-то выходи я люблю тебя, – как раньше. Поверь мне: она всегда выходила на мой зов, и мы до утра бывали вместе у нее в мансарде, а

после, когда начинало светать, я осторожно, чтобы не разбудить Аркадия Аркадьевича, спускался в сад по наружной винтовой лестнице и возвращался домой. Знаешь, перед тем, как уйти, я обычно гладил ее простую собаку, и вообще немного играл с ней, чтобы она не забывала меня. Это ерунда, зачем ты придумываешь всю эту ерунду, наша учительница Ведь Аркадьевна никогда не выходила на твой зов, и ты ни разу не был у нее в мансарде – ни днем, ни ночью. Верь я слежу за каждым твоим шагом — так советовал мне доктор Заузе. Когда нас выписывали о т т у д а, он советовал: если вы заметите, что тот, кого вы называете он, и кто живет и учится вместе с вами, уходит куда-нибудь, стараясь быть незамеченным, или просто убегает, следуйте за ним, постарайтесь не упускать его из виду, по возможности будьте ближе к нему, как можно ближе, ищите случай приблизиться к нему настолько, чтобы почти слиться с ним в общем деле, в общем поступке, сделайте так, чтобы однажды – такой момент непременно настанет – навсегда соединиться с ним в одно целое, единое существо с неделимыми мыслями и стремлениями, привычками и вкусами. Только в таком случае, – утверждал Заузе, – вы обретете покой и волю. И вот я, куда бы ты ни пошел, следовал за тобой, и время от времени мне удавалось слиться с тобой в общем поступке, но ты сразу прогонял меня, как только замечал это, и мне опять становилось тревожно, даже страшно. Я боялся и боюсь вообще многого, лишь стараюсь не подавать вида, и мне кажется, ты боишься не меньше моего. Вот, например, ты боишься, вдруг я стану рассказывать тебе правду о том, что делал с твоей Ветой в ночь твоего прихода тот сравнительно молодой человек у себя на квартире. Но я все-таки расскажу об этом, потому что не люблю тебя за то, что ты не хочешь слиться со мной в общем поступке, как советовал доктор. Я расскажу тебе и о том, как и что делали другие молодые и немолодые люди с твоей Ветой у себя на квартирах и в гостиничных номерах в те ночи, когда ты спал на даче отца твоего или же в городе, или т а м, после вечерних уколов. Но прежде я должен убедить тебя в том, что ты никогда не был в мансарде акатовской дачи, хотя и убегал поздними вечерами в Край Козодоя. Ты смотрел на освещенные окна особняка через щели в заборе и мечтал войти

в парк, прошагать по дорожке — от калитки к парадному крыльцу, я понимаю тебя, прошагать по дорожке, легко, непринужденно, а шагая, поддеть ногой две или три прошлогодние шишки, сорвать цветок на клумбе, понюхать его, постоять у беседки — просто так, оглядывая все кругом с легким прищуром всепонимающих глубоких глаз, затем постоять под высоким деревом, где скворечник, послушать птиц — о, я хорошо понимаю тебя, я сам с удовольствием сделал бы то же самое и даже больше: шагая по дорожке акатовского сада (или парка — никто не знает, как лучше называть их участок и всякий называет как кому вздумается), я поиграл бы с их прекрасной простой собакой и постучал бы в парадную дверь: тук-тук; но сейчас я признаюсь тебе: я, как, впрочем, и ты, — мы боимся этой большой собаки. А если бы мы не боялись ее, если бы, предположим, ее вообще не было, — разве мы смогли бы позволить себе все это, разве только из-за собаки мы не можем постучать в дверь? — вот мой вопрос к тебе, я хотел бы поговорить об этом еще немного, меня страшно занимает эта тема. Мне кажется ты снова притворяешься, неужели все это так интересно, ты заговариваешь мне зубы, ты не желаешь, чтобы я рассказал тебе всю правду о Вете, о том, что делали с ней в своих квартирах и номерах те молодые люди, которых ты никогда не увидишь ну почему скажи мне наконец почему ты или почему я почему мы боимся говорить про это друг другу или каждый себе во всем этом так много правды почему почему почему да много знаешь но знаешь если не знаю я же ничего и ты ничего мы ничего про это не знаем мы пока или уже не знаем что ты можешь рассказать мне или себе если у тебя как и у меня не было ни одной женщины мы не знаем как это вообще как бывает мы только догадываемся мы можем догадываться мы только читали только слышали от других но и другие тоже толком ничего не знают мы однажды спросили у Павла Петровича были ли у него женщины дело происходило у нас в школе там в конце коридора за узкой дверью где всегда пахнет куревом и хлоркой да в уборной да в туалете Савл Петрович курил он сидел на подоконнике то была перемена нет после уроков я остался после уроков делать уроки на завтра нет нас оставили после уроков делать уроки на завтра по математике

плохо учимся маме сказали особенно по математике очень трудно устаешь очень болезненно нехорошо какие-то задачи почему-то слишком много задают уроков надо чертить и думать слишком заставляют Савл Петрович зачем-то мучают примерами говорят будто кто-то из нас когда закончит школу пойдет в институт и станет кто-то из нас некоторые из нас часть из нас кое-кто из нас инженерами а мы не верим ничего подобного не случится ибо Савл Петрович вы же сами догадыветесь вы и другие учителя мы никогда не станем никакими инженерами потому что мы все ужасные дураки разве не так разве это школа не специальная то есть не специально для нас зачем вы обманываете нас с этими самыми инженерами кому это все нужно но дорогой Савл Петрович даже если бы мы и стали вдруг инженерами то не надо нет не следует не согласен я заявил бы в комиссию не желаю быть инженером я стану продавать не улице цветы и открытки и петушков на палочке или научусь точать сапоги выпиливать лобзиком по фанере но не соглашусь работать инженером пока у нас не образуется самая главная самая большая комиссия которая разберется со временем не так ли Савл Петрович у нас непорядок со временем и есть ли смысл заниматься каким-то серьезным делом например чертить чертежи черными чернилами когда со временем не очень хорошо то есть совсем неважно очень странно и глупо вы же знаете сами вы и другие учителя.

Савл Петрович сидел на подоконнике и курил. Босые ступни ног его покоились на радиаторе парового отопления или, как еще называют этот прибор, на батарее. За окном была осень, и если бы окно не замазали специальной белой краской, мы могли бы увидеть часть улицы, вдоль нее дул умеренный северо-западный ветер. По ветру летели листья, лужи морщились, прохожие, мечтая превратиться в птиц, старательно торопились домой, чтобы при встрече с соседями поговорить о дурной погоде. Короче — была обычная осень, середина ее, когда на школьный двор уже привезли и выгрузили из машин уголь, и старый человек, наш истопник и сторож, которого никто из нас не звал по имени, так как никто из нас не знал этого имени, поскольку узнавать и

помнить это имя не имело смысла, потому что наш истопник ни за что не услышал бы и не отозвался на это имя, поскольку был глухой и немой, – и вот он уже затопил котлы. В школе стало теплее, хотя от полов, как замечали, ежась и поводя плечами, некоторые учителя, по-прежнему несло, и – думается – Савл Петрович правильно делал, что заходил иногда в уборную погреть босые ступни ног своих. Он мог бы греть их и в учительской, и в классе во время уроков, но, по-видимому, не хотел делать этого слишком на виду, на людях, он все-таки был немного застенчив, учитель Норвегов. Пожалуй. Он сидел на подоконнике спиной к закрашенному стеклу, а лицом к кабинкам. Босые ступни ног его стояли на радиаторе и колени были высоко подняты, так что учитель мог удобно опереть на них подбородок. И вот мы посмотрели на него, сидящего таким образом, сбоку, в профиль: издательский знак, экслибрис, серия книга за книгой, силуэт юноши, сидящего на траве или на голой земле с книгой в руках, темный юноша на фоне белой зари, мечтательно, юноша, мечтающий стать инженером, юноша-инженер, если угодно, кудрявый, довольно кудрявый, книга за книгой, читает книгу за книгой на фоне, бесплатно, экслибрис, за счет издательства, один и тот же, все книги подряд, очень начитан, он очень начитан, ваш мальчик – нашей доброй любимой матери – Водокачка, учительница по предметам литература и русский язык письменно и устно, маме сказала, даже слишком, мы бы не рекомендовали все подряд, особенно западных классиков, отвлекает, перегрузка воображения, дерзит, заприте на ключ, не больше пятидесяти страниц в день, для среднего школьного возраста, Мальчик из Уржума, Детство Темы, Детство, Дом на горе, Витя Малеев, и вот это: жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо так, чтобы. И еще: бороться и искать, найти и не сдаваться, впред заре навстречу, товарищи в борьбе, штыками и картечью проложим путь себе – песни русских революций и гражданских войн, вихри враждебные, во саду ли, как у наших у ворот, ах, вы сени, и потом мы рекомендовали бы занятия музыкой, на любом инструменте, умеренно, терапия, чтобы не было мучительно больно, а то, знаете, время становления, такой возраст, ну да, баян, ну да, аккордеон, скрипка, фортепьяно, скорее даже форте, чем пьяно,

начали: и-и-и баркаролла три четверти бемоль скрипичный ключ не путать с грибом скрипица полуядовит отваривать и-и-и под стук вагонных на станцию которая по той же ветке что и-и-и по Вете ветлы сонных пассажиров тревожа плачешь в вагоне от любви от ненужностей жизни мама за окнами дождь неужели мы должны ехать в такую слякоть да дорогой немного музыки не повредит тебе мы же договорились маэстро будет сегодня ждать неудобно, воскресенье, потом зайдем к бабушке. Станция, кусты, полдень, очень сыро. Впрочем, вот и зима: платформа заснежена, снег сухой, рассыпчатый и искристый. Мимо рынка. Нет, прежде виадук с обледенелыми скрипучими ступенями. Скрипучими, мама. Осторожно, путь наверх и-и-и когда увидишь внизу проходящий состав исписанный мелом товарный или чистый с накрахмаленными воротничками штор курьерский постарайся не смотреть иначе закружится голова и ты упадешь раскинув руки ничком или навзничь и участливые прохожие не успевшие обратиться в птиц окружат тело твое и кто-то приподнимет голову твою и станет бить по щекам бедный мальчик наверное у него сердце нет это авитаминоз б о л е к р о в и е женщина в крестьянском платке торговка корзины подержите аккордеон а мама где его мама он наверное один занимается музыкой смотрите у него на голове кровь он конечно один боже что с ним ничего он сейчас я сейчас Вета я один я прошу простить меня твой мальчик твой ласковый ученик засмотрелся на товарный исписанный мелом состав его исписали комиссии но через годы через расстояния твой робкий такой-то придет к тебе преодолевая метели бьющие в человека кинжальным огнем серебра и сыграет на баркаролле неистовый чардаш и да поможет нам бог не сойти с ума от испепеляющей внешкольной страсти тук-тук здравствуйте Вета Аркадьевна и-и-и вот хризантемы пусть отцвели увяли пусть но то что случится окупит все сполна когда это будет? Лет десять, возможно. Ей – сорок, она еще молода, летом живет на даче, много купается – и настольный теннис, пинг-понг. А мне, а мне? Сейчас мы подсчитаем. Мне – столько-то, я давно закончил спецшколу, институт и стал инженером. У меня много друзей, я совершенно здоров и коплю деньги на машину – нет, уже купил, накопил и купил, сберкасса, сберкасса, пользуйтесь. Да, вот

именно, ты давно инженер и читаешь книгу за книгой, сидя целыми днями на траве. Много книг. Ты стал очень умным, и приходит день, когда ты понимаешь, что медлить больше нельзя. Ты поднимаешься с травы, отряхивешь брюки – они прекрасно отглажены – потом наклоняешься, собираешь все книги в стопку и несешь в машину. Там, в машине, лежит пиджак, хороший и синий. И ты надеваешь его. Затем ты осматриваешь себя. Ты высокого роста, гораздо выше, чем теперь, примерно на столько-то сяку. Кроме того, ты широк в плечах, а лицом почти красив. Именно п о ч т и, потому что некоторые женщины не любят слишком красивых мужчин, не так ли? У тебя прямой нос, синие глаза с поволокой, упрямый волевой подбородок и крепко сжатые губы. Что касается лба, то он необыкновенно высок, как, впрочем, и сейчас, и на него густыми прядями ниспадают темные волосы. Лицом чист, бороду бреешь. Осмотрев себя, ты садишься за руль, хлопаешь дверцей и покидаешь те травянистые места, где столь долго читал книги. Теперь ты едешь прямо к ее дому. А хризантемы! ведь нужно же купить их, нужно куда-то заехать, купить на рынке. Но у меня с собой ни сентаво, нужно попросить у матери: мама, дело в том, что у нас в классе умерла девочка, нет, конечно, не прямо в классе, она умерла дома, она долго болела, несколько лет, и совсем не ходила на занятия, никто из учеников даже не видел ее, только на фотографии, она просто числилась, у нее был менингит, как у многих, так вот, она умерла, да, ужасно, мама, ужасно, как у многих, так вот, она умерла и ее следует похоронить, нет, естественно, нет, мама, ты права, у нее есть свои собственные родители, никто никого не может заставить хоронить чужих детей, я говорю просто так: ее следует похоронить, но без цветов не принято, неудобно, помнишь, даже у Савла Петровича, которого так не любили учителя и родительский комитет, даже у него было много цветов, и вот наш класс решил собрать на венок этой девочке, по нескольку рублей с человека, вернее так: кто живет с мамой и папой, с тех по десять рублей, а кто только с мамой или только с папой, с тех по пять, значит, с меня десять, дай мне, пожалуйста, скорее, меня ждет машина. Какая машина? – спросит мама. И тогда я отвечу: понимаешь, так получилось, что я купил машину, заплатил недорого, да и то

пришлось залезть в долги. В какие долги, – всплеснет мама руками, – откуда у тебя вообще деньги! И подбежит к окну, чтобы посмотреть во двор, где будет стоять мой автомобиль. Видишь ли, спокойно отвечу я, пока я сидел на траве и читал книгу за книгой, мои обстоятельства сложились таким образом, что мне удалось закончить школу, а потом институт, извини, пожалуйста, мама, не знаю, отчего, но мне казалось, для тебя будет приятным сюрпризом, если я скажу об этом не сразу, а как-нибудь позже, время спустя, и вот время спустилось, и я сообщаю: да, я стал инженером, мама, и моя машина ждет меня. Так сколько же прошло, – скажет мать, – разве не ты еще сегодня утром уходил с портфелем в свою школу, и разве не сегодня я провожала тебя и бежала за тобой по лестнице почти до первого этажа, чтобы сунуть бутерброды в карман пальто, а ты прыгал через три ступеньки и кричал, что не голоден, и что если я буду приставать к тебе с бутербродами, ты зашьешь себе рот суровой ниткой, – разве все это случилось не сегодня? – удивится наша бедная мать. А мы, что мы ответим нашей бедной матери? Надо сказать ей так: увы, мама, увы. Верно, здесь необходимо употребить полузабытое слово у в ы. Увы, мама, день, когда ты хотела положить бутерброды в карман моего пальто, а я отказывался, потому что был не совсем здоров, – тот день давно миновал, теперь я стал инженером, и машина ждет меня. Тогда наша мать расплачется: как летят годы, скажет, как быстро взрослеют дети, не успеешь оглянуться, а сын уж инженер, кто бы мог подумать: мой сын такой-то – инженер! А после она успокоится, сядет на табуретку, и зеленые глаза ее посуровеют, и морщины, особенно две глубокие вертикальные морщины, вырезанные у самого рта, станут еще глубже и она спросит: зачем ты обманывешь меня, ты только что просил деньги на венок девочке, с которой учился в одном классе, а теперь утверждаешь, будто давно закончил школу и даже институт, разве можно быть инженером и школьником одновременно. А кроме того, строго заметит мама, никакой машины во дворе нет, не считая той мусорной, что стоит у помойки, ты все придумал, никакая машина не ждет тебя. Дорогая мама, я не знаю, можно ли быть инженером и школьником вместе, может, кому-то и нельзя, кто-то не может, кому-то не дано, но я,

выбравший свободу, одну из ее форм, я волен поступать как хочу и являться кем угодно вместе и порознь, неужели ты не понимаешь этого? а если не веришь мне, то спроси у Савла Петровича, и хотя его давно нет с нами, он все объяснит тебе: у нас плохо со временем – вот что скажет географ, человек пятой пригородной зоны. А насчет машины – не беспокойся, я немного пофантазировал, ее действительно нет и никогда не будет, но зато всегда с семи до восьми утра – всякий день и всякий год – в шторм и в ведро – в нашем дворе у помойки будет стоять грузовик мусорного треста, клопообразный, зеленый как муха. А девочка, – поинтересуется мама, – девочка действительно умерла? Не знаю, – должен ответить ты, – про девочку я ничего не знаю. Затем ты должен быстро пройти в прихожую, где на вешалке висят пальто, куртки и шляпы твоих родственников – не бойся этих вещей, они пустые, в них никто не одет – и висит твое пальто. Надень его, надень шапку твою и распахни дверь на лестницу. Беги из дома отца твоего и не оглядывайся, ибо, оглянувшись, узришь ты горе в глазах матери твоей, и горько станет тебе, бегущему по мерзлой земле во вторую школьную смену. Бегущий во вторую смену, ты и сегодня не сделал уроков, но будучи спрошен с пристрастием, отчего так случилось, глядя за окно на гаснущую зарю – фонари города зажглись и болтаются над улицами, как немые, с вырванными языками, колокола – отвечай любому учителю с достоитством и не смущаясь. Отвечай: считая себя ревностным участником энтомологического конкурса, объявленного нашей уважаемой Академией, я отдаю мой досуг коллеционированию редких и полуредких бабочек. Ну и что же, возразит тебе педагог. Смею надеяься, продолжаешь ты, что моя коллекция представит в будущем немалый научный интерес, отчего не страшась ни материальных, ни временных затрат, я полагаю своим долгом пополнять ее новыми уникальными экземплярами: так не спрашивайте же, почему я не сделал уроков. О каких бабочках может идти речь зимой, притворно удивляется педагог, вы что – с ума сошли? И возражаешь с полным достоинством: зимой речь может идти о зимних бабочках, называемых снежными, я ловлю их за городом – в лесу и в поле, преимущественно по утрам, – на второй поставленный вами

вопрос отвечаю: факт моего сумасшествия ни у кого не вызывает сомнения, иначе меня не держали бы в этой проклятой школе вместе с другими такими же дураками. Вы дерзите, мне придется говорить с вашими родителями. На что должен последовать ответ: вы вправе говорить с кем угодно, в том числе и с моими родителями, только не высказывайте никому своих сомнений относительно зимних бабочек, вас подымут на смех и заставят учиться здесь вместе с нами: зимних бабочек не меньше, чем летних, запомните это. Теперь сложить все свои фолианты и рукописные труды в портфель и медленно, усталой походкой стареющего ученого-энтомолога, покашливая, покинуть аудиторию.

Я знаю: ты, как и я, – мы никогда не любили школу, особенно с того дня, когда наш директор Николай Горимирович Перилло ввел тапочную систему. Так, если ты не запамятовал, назывался порядок, при котором ученики были обязаны приносить с собою тапочки, причем нести их следовало не просто в руках и не в портфелях, а в специально сшитых матерчатых мешочках. Верно, в белых мешочках с лямочками, и на каждом мешочке китайской тушью была написана фамилия ученика, кому принадлежал мешочек. Требовалось писать, скажем: ученик такой-то, 5 "у" класс, и обязательно ниже, но более крупными буквами: тапочки. И еще ниже, но еще более крупно: спецшкола. Ну как же, я хорошо помню то время, оно началось сразу, в один из дней. К нам в класс во время урока пришел Н. Г. Перилло, он пришел угрюмо. Он всегда приходил угрюмо, потому что, как объяснял нам отец, зарплата у директора была небольшая, а пил он много. Перилло жил в одноэтажном флигеле, который стоял во дворе школы, и если хочешь, я опишу тебе и флигель, и двор. Опиши только двор, флигель я помню. Нашу школу из красного кирпича окружал забор из такого же кирпича. От ворот к парадному подъезду шла асфальтированная аллея – по сторонам ее росли какие-то деревья, и были клумбы с цветами. Перед фасадом ты мог видеть некоторые скульптуры: в центре – два небольших меловых старика, один в кепке, а другой в

военной фуражке. Старики стояли спиной к школе, а лицом к тебе, бегущему по аллее во вторую смену, и у того и другого одна из рук была вытянута вперед, словно они указывали на что-то важное, происходившее там, на каменистом пустыре перед школой, где нас заставляли раз в месяц бегать укрепляющие кроссы. По левую сторону от стариков коротала время скульптура девочки с небольшой ланью. И девочка, и лань тоже светились бело, как чистый мел, и тоже глядели на пустырь. А по правую сторону от стариков стоял мальчик-горнист, и он хотел бы играть на горне, он умел играть, он мог бы играть все, даже внешкольный чардаш, но беда в том, что горна у него не было, горн выбили у него из рук, вернее, белый гипсовый горн разбился при перевозке, и у мальчика из губ торчал лишь стержень горна, кусок ржавой проволоки. Разреши мне поправить тебя, насколько я помню, белая девочка действительно стояла во дворе школы, но то была девочка не с ланью, а с собакой, меловая девочка с простой собакой; когда мы ехали на велосипеде из пункта А в пункт Б, эта девочка в коротком платье и с одуванчиком в волосах шла купаться; ты говоришь, что меловая девочка у нас перед школой стоит (стояла) и смотрит (смотрела) на пустырь, где мы бегаем (бегали) укрепляющие кроссы, а я говорю тебе: она смотрит на пруд, где скоро станет купаться. Ты говоришь: она гладит лань, а я говорю тебе: эта девочка гладит свою простую собаку. И про белого мальчика ты рассказал неправду: он не стоит и не играет на горне, и хотя у него изо рта торчит какая-то железка, он не умеет играть на горне, я не знаю, что это за железка, возможно, это игла, которой он зашивает себе рот, дабы не есть бутербродов матери своей, завернутых в газеты отца своего. Но главное в следующем: я утверждаю, что белый мальчик не стоит, а сидит — это темный мальчик, сидящий на фоне белой зари, книга за книгой, на траве, это мальчик-инженер, которого ждет машина, и он сидит на своем постаменте точно так же, как Савл Петрович — на подоконнике в уборной, грея ступни ног, когда мы идем и входим разгневанно, неся в портфелях наших энтомологические заметки, планы преобразования времени, разноцветные сачки для ловли снежных бабочек, причем длинные, почти двухметровые древки этих прекрасных снастей торчат из

портфелей и задевают углы и самодовольные портреты ученых на стенах. Мы входим разгневанно: дорогой Савл Петрович, в нашей ужасной школе стало невозможно учиться, много задают на дом, учителя почти все дураки, они ничуть не умнее нас, понимаете, надо что-то делать, необходим какой-то решительный шаг – может быть письма туда и сюда, может быть – бойкоты и голодовки, баррикады и барракуды, барабаны и тамбурины, сожжение журналов и дневников, аутодафе в масштабе всех специальных школ мира, взгляните, вот, в наших портфелях – сачки для ловли бабочек. Мы отломаем древки от собственно сачков, поймаем всех по-настоящему глупых и наденем эти сачки им на головы на манер шутовских колпаков, а древками будем бить по их ненавистным лицам. Мы устроим грандиозную массовую гражданскую казнь, и пусть все те, кто так долго мучил нас в наших идиотских спецшколах, сами бегают укрепляющие кроссы на каменистых пустырях и сами решают задачи про велосипедистов, а мы, бывшие ученики, освобожденные от чернильного и мелового рабства, мы сядем на свои дачные велосипеды и помчимся по шоссе и проселкам, то и дело приветствуя на ходу знакомых девчонок в коротких юбочках, девчонок с простыми собаками, мы станем загородными велосипедистами пунктов А, Б, В, и пусть те проклятые дураки, дураки проклятые решают задачи про нас и за нас, велосипедистов. Мы будем велосипедистами и почтальонами, как Михеев (Медведев), или как тот, кого вы, Савл Петрович, называете Насылающим. Мы все, бывшие идиоты, станем Насылающими, и это будет прекрасно. Помните, вы когда-то спрашивали нас, верим ли мы в этого человека, а мы говорили, что не знаем, что и думать по этому поводу, но теперь, когда испепеляющее лето сменилось промозглой осенью, и прохожие, спрятав головы в воротники, мечтают обратиться в птиц, теперь мы спешим заявить вам лично, дорогой Савл Петрович, и всем другим прогрессивным педагогам, что не сомневаемся в существовании Насылающего, как не сомневаемся, что грядущее, полное велосипедов и велосипедистов-насылающих, – грядет. И отсюда, из нашей отвратительной мужской уборной с испачканными окнами и никогда не просыхающими полами, мы кричим сегодня на весь белый свет: да здравствует

Насылающий ветер! Разгневанно.

Между тем наш худой и босоногий учитель Савл сидит на подоконнике и расстроганно смотрит на нас, орущих эту величайшую из ораторий, и когда последнее эхо ее прокатится по пустым, но еще вонючим после занятий классам и коридорам и улетит на осенние улицы, учитель Савл достанет из нагрудного кармана ковбойки маленькие ножницы, пострижет ногти на ногах, посмотрит на двери кабинок, исписанные хулиганскими словами и изрисованные дурацкими рисунками, и: как много неприличного, –скажет, – сколь некрасиво у нас в уборной, о боже, – заметит, – как бедны наши чувства к женщине, как циничны мы, люди спецшколы. Ужели не подберем слов высоких, сильных и нежных взамен этих – чужих и мерзких. О люди, учители и ученики, как неразумны и грязны вы в помыслах своих и поступках! Но мы ли виновны в идиотизме и животной похоти наших, наши ли руки исписали двери кабинок? Нет, нет! – закричит, – мы только слабые и немощные слуги и неслухи директора нашего Коли Перилло, и это он попустил нам разврат наш и слабоумие наше, и это он не научил нас любить нежно и сильно, и это его руки водили нашими, когда мы рисовали здесь на стенах, и он виноват в идиотизме и похоти наших. О мерзкий Перилло, – скажет Савл, – как ненавистен ты мне! И заплачет. Мы же будем стоять растерянно, не зная, что сказать, чем успокоить его, нашего гениального учителя и человека. На кафельном полу, переминаясь с ноги на ногу, мы будем стоять, и жидкая грязь, оставленная второй сменой, будет чавкать под нашими ногами и медленно и совсем незаметно начнет просачиваться в брезентовые тапочки, за которыми столь долго мучилась в очереди наша бедная мать. Однажды вечером, вечером одного из дней: мама, сегодня к нам в класс угрюмо пришел Перилло. Он стер с доски все, что написал учитель, стер тряпкой. Внимание, – он, директор, сказал в тишине, – с такого-то числа эта специальная школа со всеми ее химикалиями, лампочками Фарадея, волейбольными мячами, чернильницами, досками, полудосками, картами и пирожками и прочими танцами-шманцами объявляется Образцовой Ударной имени отечест-

венного математика Лобачевского специальной школой и переходит на тапочную систему. Класс зашумел, зашумел, а один мальчик, – я не помню, а может быть просто не понимаю, как его зовут, а может быть этим мальчиком был я сам, – этот мальчик закричал, почему-то очень закричал, вот так: а-а-а-а-а-а-а-а! Извини, мама, я понимаю, вовсе не обязательно показывать, как именно кричал мальчик, тем более, что папа отдыхает, достаточно просто сказать, что один мальчик закричал, мол, очень сильно и неожиданно крикнул, и не обязательно показывать, что он крикнул вот так: а-а-а-а-а-а-а! При этом он полностью открыл рот и высунул язык и мне показалось, что у него необыкновенно красный язык, наверное мальчик болен, и у него начался приступ, – так я подумал. Я должен заметить, мама, у него действительно очень красный и длинный язык с фиолетовыми пятнами и прожилками, будто мальчик пьет чернила, прямо удивительно. Было похоже, что он сидит у врача ухо-горло-нос и врач просит сказать его "а", и мальчик открывает рот и старательно говорит, а вернее, кричит: а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Он кричал целую минуту и все глядели на него, а потом он перестал кричать и совсем тихо спросил, обращаясь к директору: а что это значит? И тут все вспомнили, что мальчик заикается, что ему иногда трудно дается переход с гласного звука на согласный, и тогда он застревает на гласном и кричит, потому что ему обидно. И вот он закричал сегодня: а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Он хотел спросить у директора: а что это значит, – только и всего. И наконец он спросил и директор Перилло сквозь зубы ответил: тапочная система–это такое положение вещей, при котором всякий ученик покупает тапочки и приносит их в школу в специальном мешочке с лямочками. Придя в школу, ученик снимает обычную обувь свою и надевает принесенные тапочки, а опустевший мешок заполняет обычной обувью и сдает в гардероб нянечке вместе с пальто и шапкой. Понятно ли я объясняю? – спросил директор и мутно посмотрел во все концы света. И тут мальчик опять страшно закричал, на сей раз был другой звук: о-о-о-о-о-о-о! Я больше не буду, мама, не знаю, как мог я забыть, что папа дремлет у себя в кабинете с газетой в руках, он, очевидно, устал, у него такая тяжелая работа, столько дел, столько загубленных судеб, бедный папочка, я

больше не буду, мама, я лишь закончу. И вот мальчик закричал: о-о-о-о-о-о-о! — а затем выговорил: очень приятно. Перилло собрался уже уходить, когда мы, то есть я и он, другой, мы встали и заявили: Николай Горимирович, мы обращаемся к вам лично и в вашем открытом и честном лице ко всей администрации в целом с просьбой разрешить нам носить один мешок на двоих, поскольку нашей матери будет в два раза труднее шить два мешка, нежели один. На что директор, переглянувшись с учителем, так, словно они оба знали нечто, чего больше никто не знал, как будто они знали более нашего, ответил: каждый ученик Образцовой Ударной имени отечественного математика Лобачевского специальной школы обязан иметь свой собственный мешок с лямками, на каждого — по мешку. И до тех пор, покуда вы считаете, что вас двое, вы должны иметь два мешка — ни больше ни меньше. Если же вы полагаете, что вас десять, то имейте десять мешков. Черт возьми! — мы громко и разгневанно, — лучше бы нас совсем не было, вы не приставали бы тогда к нам с вашими проклятыми мешками и тапочками, бедная мама, тебе придется шить два мешка, сидя до глубокой ночи, ночи напролет, на швейной машине строча — тра-та-та, тра-та-та, навылет, сквозь сердце, да лучше бы мы навсегда обратились в лилию, в нимфею альба, как тогда, на реке, только навсегда, до конца жизни. Разгневанно. Директор Перилло достал из внутреннего кармана пиджака мятый платок и тщательным образом протер свою веснушчатую, рыжую, вмятую в череп лысину. Он сделал это, чтобы скрыть растерянность, он растерялся, он не ожидал, что в его школе есть такие разгневанные учащиеся. И он сказал угрюмо: ученик такой-то, я не предполагал, что здесь имеются люди, способные до такой степени потерять мое доверие к ним, как это сделали сейчас вы. И если вы не желаете, чтобы я исключил вас из школы и передал ваши документы т у д а, то немедленно садитесь и пишите объяснительную записку о потерянном доверии, вы обязаны объяснить мне все, и в первую очередь вашу вздорную псевдонаучную теорию о превращении в лилию. Сказав так, Перилло повернулся, щелкнул по-военному каблуками — в школе говорили, что директор служил в одном батальоне с самим Кузутовым — и вышел, хлопнув дверью. Рассерженно. Весь класс

посмотрел в нашу сторону, высунул красный ядовитый язык, прицелился из рогатки и хихикнул, потому что весь этот класс, как и все прочие в специалке, – глупый и дикий. Это они, идиоты, вешают кошек на пожарной лестнице, это они плюют друг другу в лицо на больших переменах и отнимают друг у друга пирожки с повидлом, это они незаметно мочатся друг другу в карман и подставляют ножки, это они выкручивают друг другу руки и устраивают "темные", и это они, идиоты, изрисовали двери кабинок.

Но отчего ты так сердишься на своих товарищей, – говорит нам наша терпеливая мать, – разве ты сам не такой, как они? Если бы ты был иным, лучше их, мы не отправили бы тебя учиться в спецшколу, о, ты не представляешь, каким счастьем это было бы для меня и для отца! господи, я наверное стала бы самой счастливой матерью. Нет, мама, нет, мы совершенно другие люди, и с теми мозгляками нас ничто не связывает, мы несравненно выше и лучше их во всех отношениях. Естественно, со стороны может показаться, будто мы такие же, а по успеваемости хуже нас вообще никого нет, мы не в состоянии запомнить до конца ни одного стихотворения, а тем более басню, но зато мы помним вещи поважнее. Недавно Водокачка объясняла тебе, что у нас – твоих сыновей – так называемая избирательная память, и это чрезвычайно верно, мама, такого рода память позволяет нам жить, как хочется, ибо мы запоминаем лишь то, что нужно нам, а не тем кретинам, которые берут на себя смелость учить нас. Знаешь, мы даже не помним, сколько лет уже просидели в спецшколе, а иногда забываем названия школьных и просто предметов, не говоря о каких-то там формулах и определениях – их мы абсолютно не знаем. Однажды, год или три спустя, ты нашла для нас репетитора по какому-то предмету, возможно, по математике, и как водится, мы ходили к нему заниматься, за каждое занятие он брал столько-то рублей. То был дорогой и знающий педагог, и примерно на втором занятии он сообщил нам: молодой человек, – нет, я ошибся, он использовал прилагательное усеченной формы: млад человек; млад человек, вы – уникум, все, что вы знаете по предмету – это ничто. Когда

мы пришли на третье занятие, он оставил нас одних в квартире, а сам побежал в магазин за пивом. Было лето, жарко, мы приезжали на занятия с дачи, было невыносимо, мама. Репетитор сказал нам: а, здрасьте, здрасьте, млад человек, а я заждался, – потирая руки, – заждался, жарко, ибо лето, деньги принесли? Давайте, я заждался, совершенно ни копейки, побудьте, спущусь за пивом, считайте, что вы дома, займитесь хоть рисованием, покормите гуппи , лампочка в аквариуме перегорела, вода мутная, но когда рыбка подплывает к стеклу, можно наблюдать, рассматривайте, да, кстати, посмотрите и Рыбкина, он на полке, это разборник, разборник задач, рекомендую такой-то номер, исключительно любопытно, едет велосипедист, представляете? добирается из пункта в пункт, интереснейшая ситуация, жара стоит невозможная, я заждался, ни копейки во всем доме, соседи все на юге, занять положительно не у кого, в общем, я побежал, устраивайтесь, занимайтесь чем придется, только не лазайте в холодильник, там все-равно ничего нет – пусто, итак, за пивом, за пивом и еще раз за пивом, чтобы не было мучительно больно. Рассеянно. Нет, сосредоточенно. Вертясь перед зеркалом. Когда репетитор вернулся с пивом – тридцать бутылок, мама, – он спросил нас, умеем ли мы играть в шахматы. Умеем, отвечали мы. Именно в тот день мы придумали новую фигуру, она называлась конеслон и могла ходить крест-на-крест или вовсе не ходить, то есть пропускать ход, стоять на месте. В таком случае игрок просто говорит партнеру: ходит конеслон, а в действительности конеслон стоит как вкопанный и тускло смотрит во все концы света, как Перилло. Репетитору ужасно понравилась идея новой фигуры, и он, когда мы потом приезжали к нему, часто напевал на мотив из Детей капитана Блэда: конеслон, конеслон, улыбнитесь, – и пил пиво, и мы никогда больше не занимались по предмету, мы играли в шахматы и нередко обыгрывали репетитора. Так что у нас неплохая память, мама, она, скорее, избирательная, и ты не должна огорчаться. И тут мы трое, сидящие на кухне, услышали голос отца нашего и поняли, что он уже не дремлет в кресле, но движется по коридору, стуча шлепанцами и шурша свежими вечерними газетами. Он шел устало и долго и кашлял – это и был его голос, в этом его голос и выражался. Добрый вечер, папа

в старой пижаме, не огорчайся, что она старая, когда-нибудь мама сошьет или купит тебе новую, и Те Кто Придут будут интересоваться: шили или покупали, шили или покупали, шили или покупали? Наш прокурор-отец очень крупный: когда он стоит в дверях кухни, то заслоняет своей клетчатой пижамой весь проем, он стоит и спрашивает: что случилось, почему вы кричите здесь, в моем доме, вы что – все с ума посходили? Я думал, опять приехали ваши дурацкие родственники, все сто человек сразу. Какого черта, строго говоря! Неужели нельзя тише, ты распустила своего щенка донельзя, у него, ясное дело, сплошные двойки. Нет, папа, суть не в этом, понимаешь, конеслон вошел в мои сны, *как в кожаную перчатку входит красный мужской кулак,* и у него у бедняги избирательная память, у конеслона. Что за ерундистика, не желаю слушать твой бред, – сказал мне отец. Он сел на табуретку, причем могло показаться, что вот-вот она рухнет под тяжестью этого навсегда усталого тела, и он встряхнул ворох газетных страниц, дабы расправить их, и ногтем отчеркнул какую-то заметку под рубрикой о б ъ я в л е н и я. Послушай, – обернулся он к матери, – здесь напечатано: куплю зимнюю дачу. Как ты на это смотришь, не продать ли наш дом этому типу, он наверняка подлец и проходимец, какой-нибудь прораб или завхоз, и деньги-то у него, конечно, есть, иначе он не стал бы давать объявление. Я сейчас сидел и думал, – продолжал отец, – на кой хрен нам нужна наша халупа, там же нет ничего хорошего: пруд грязный, соседи все – хамье и пьяницы, а ремонт один чего стоит. Но гамак, – сказала мама, – как славно полежать в гамаке после трудного дня, ты ведь так любишь. Гамак я могу повесить и в городе, на балконе, – сказал отец, –правда, он займет весь балкон, но зато туда, на балкон, не зайдет ни один родственник, вот что главное, мне надоело держать дачу для твоих родственников, ты понимаешь или не понимаешь этого дела? Продать, и все тут, и никаких тебе налогов, стекольщиков, кровельщиков и прочее, тем более, что моя пенсия не за горами, а? Как знаешь, – сказала мама.

И тогда я – на сей раз это был именно я, а не тот одноклассник, который столь мучительно заикался – тогда я заорал отцу

моему: а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Я заорал так громко, как никогда в жизни еще не кричал, я хотел, чтобы он услышал и понял, что означает крик сына его: а-а-а-а-а-а-а-а-а! волки на стенах даже хуже на стенах люди люди их лица это больничные стены это время когда ты умираешь тихо и страшно а-а-а-а-а сжавшись в утробный комок лица которые ты никогда не видел но которые увидишь годы спустя это прелюдия смерти и жизни ибо тебе обещано жить чтобы мог ощутить ты обратный ход времени чтобы учился в спецшколе и любил бесконечно учителку Вету Ветку акации хрупкую женщину в тугих щуршащих при ходьбе чулках девочку с маленькой родинкой около сладкого и призывного рта, дачницу с глазами ветреной лани глупую и продажную девку с пригородной электрической платформы над которой виадук и часы и бьющиеся на снежном ветру снежном ветру провода а выше а-а-а-а-а летучие молодые звезды и грозы летящие сквозь лета, — я опоздал? извините, ради бога, Вета Аркадьевна, я провожал мать, она уехала к родственникам на несколько дней, в другой город, впрочем, я полагаю, вам неинтересно, честно говоря, я и не знаю, что сделать, чтобы вам стало интересно, ну вот, я придумал, давайте поедем куда-нибудь, давайте в парк или в ресторан, вам, наверное, холодно, застегнитесь, почему вы смеетесь, разве я сказал что-то смешное, ну, перестаньте, пожалуйста, что? вы хотели бы на дачу? но мы давно продали дачу, у нас нет дачи, потому что отец ушел на пенсию, давайте в ресторан, у меня вчера появились деньги, не слишком много, но есть, я теперь работаю в одном министерстве, ну что вы, нет, я никакой не инженер, что? я не слышу, идет электричка, отойдите от края, для чего я написал вам записку? черт возьми, я не могу ответить так сразу, нам необходимо побеседовать, где-нибудь посидеть, давайте поедем в ресторан, ладно? что? на электричке? разумеется, здесь же нет стоянки, здесь загородная местность, точнее, пригородная, по дороге я все расскажу, все очень важно, важнее, чем вы думаете, это важнее, важнее, представляете, когда-то, вероятно, довольно давно, я приезжал сюда, на заснеженную платформу, вместе с матерью, вы, наверное, знаете, тут, если по ходу поезда — и налево, будет кладбище, там похоронена моя бабушка — и-и-и-и-и-и — так же, как сейчас, шли электрички, товарные,

скорые – осторожно, мама, не поскользнись – или то была иная платформа? они все так похожи, – большое белое кладбище, церковь, но прежде – рынок, рынок, там следует купить семечки, женщины в крестьянских платках, пахнет коровой, молоком, длинные столы и навесы, несколько мотоциклетов у входа, рабочие в синих фартуках выгружают ящики из грузовика, от переезда, где шлагбаум и полосатая будка, слышится хриплый сигнальный звонок, две собаки сидят у мясной лавки, вдоль забора – очередь за керосином, лошадь, которая привезла цистерну, на лошадь падает снег с дерева, под которым она стоит, но лошадь белая, и потому снег на ее крупе почти незаметен. Еще – водоразборная колонка, вокруг – заледеневшие потеки, посыпанные песком, еще – окурки, брошенные в сугроб, еще – инвалид в телогрейке, продающий сушеные грибы на нитке. Колесо от телеги, прислоненное к мусорному баку. Мама, мы зайдем к бабушке или сразу к маэстро? К бабушке, – отвечает мать, – прежде все же к бабушке, она ждет, мы давно у нее не были, просто нехорошо, она может подумать, что мы совсем забыли о ней, поправь шарф и надень перчатки, где носовой платок, бабушка будет недовольна твоим видом. Миновать железные, с выпуклыми литыми узорами ворота, купить букет бумажных цветов – ими торгует слепая старуха у церкви, выйти на центральную аллею, затем повернуть направо. Идти, пока не увидишь беломраморного ангела в образе молодой женщины. Ангел стоит за синей оградой, сложив за спиной хорошие большие крылья и опустив голову: он слушает гудки поездов – линия проходит в километре отсюда – и оплакивает мою бабушку. Мама ищет ключ от ограды, то есть от висячего замка, который замыкает ограду, калитку в ограде. Ключ лежит где-то там, в приятно пахнущей маминой сумочке – вместе с пудреницей, флакончиком духов, кружевным платком, спичками (мама, конечно, не курит, но спички носит на всякий случай), паспортом, клубочком бумажной бечевки, вместе с десятком старых трамвайных билетов, губной помадой и мелочью на дорогу. Мама долго не может отыскать ключ и волнуется: ну где же он, господи, я хорошо помню, что он был, неужели мы не попадем сего дня к бабушке, так обидно. Но я знаю, что ключ непременно отыщется, и спокойно жду – нет, неправда, я тоже волнуюсь,

потому что боюсь ангела, я немного боюсь ангела, мама, он такой мрачный. Не говори глупостей, он не мрачный, а скорбный, он оплакивает бабушку. Наконец ключ находится, и мама начинает открывать замок. Получается не сразу: в скважину ветром надуло снега и ключ не входит, и тогда мама прячет замок в ладони, чтобы он согрелся, и снег в скважине растаял. Если это не помогает, мама склоняется над замком и дышит на него, будто оттивает чье-то замерзшее сердце. Наконец, замок щелкает и открывается – разноцветная зимняя бабочка, сидевшая на ветке бузины, пугается и летит к соседней могиле; ангел лишь вздрагивает, но не улетает, он остается с бабушкой. Мама скорбно отворяет калитку, приближается к ангелу и долго глядит на него – ангел осыпан снегом. Мама наклоняется и достает из-под скамейки сорговый веник: мы купили его однажды на рынке. Мама сметает снег со скамейки, потом поворачивается к ангелу и счищает снег с его крыльев (одно крыло повреждено, надломлено) и с головы, ангел недовольно морщится. Мама берет небольшую лопатку – стоит за спиной ангела – и очищает от снега бабушкин холм. Х о л м, п о д, к о т о р ы м б а б у ш к а. Затем мама присаживается на скамейку и берет из сумочки платок, чтобы вытирать свои грядущие слезы. Я стою рядом, мне не особенно хочется сидеть, мама, не особенно, спасибо, нет, я постою. Ну вот, – говорит мама своей матери, – ну вот мы и пришли опять, здравствуй, дорогая, видишь, у нас снова зима, не холодно ли тебе, может быть, не нужно было убирать снег, было бы теплее, слышишь, идет поезд, сегодня воскресенье, мама, в церкви много народу, у нас дома – тут по щекам моей мамы скользят первые слезы – у нас дома все хорошо, с мужем (мама называет имя отца моего) не ссоримся, все здоровы, сын наш (мама называет мое имя) учится в таком-то классе, с учебой у него лучше. Неправда, мама, неправда, думаю я, у меня с учебой так худо, что Перилло не сегодня – завтра исключит меня из школы, думаю я, и я стану продавать бумажные цветы, как та старуха, думаю я, но вслух говорю: бабушка, я ужасно стараюсь, ужасно, я непременно закончу школу, не волнуйся, пожалуйста, и стану инженером, как дедушка. Больше я ничего не могу сказать, по-

скольку чувствую, что сейчас заплачу. Я отворачиваюсь от бабушки и смотрю вдоль аллеи: в конце ее, у забора, играет с собакой маленькая девочка — здравствуй, девочка с простой собакой, я всякий раз вижу тебя здесь, знаешь, что я хочу сообщить тебе сегодня, я обманываю свою бывшую бабушку, мне как-то неловко огорчать ее, и я говорю неправду, никогда и никто из нас, недоумков, не станет инженером, мы все способны лишь продавать открытки или бумажные цветы, как та старуха у церкви, да и то вряд ли: мы наверное ни за что не научимся делать такие цветы, и нам нечего будет продавать. Девочка уходит и уводит собаку. Я замечаю, что бабочка, которая сидит теперь в трех шагах от меня, на излуке высокого снежного свея, расправляет крылья, собираясь взлететь. Я распахиваю калитку и бегу, но бабочка замечает меня раньше, чем успеваю накрыть ее шапкой своей: скрывается меж кустарников и крестов. По колено в снегу бегу я за ней, скорбно, стараясь не глядеть на фотографии тех, кого нет; их лица освещены заходящим солнцем, лица их улыбаются. Сумерки спускаются из глубины неба. Бабочка, мелькавшая иногда тут и там, совсем пропадает, и ты остаешься один посреди кладбища.

Ты не знаешь, как вернуться тебе к скорбящей матери твоей, и направляешься в ту сторону, откуда слышны гудки паровоза — в сторону линии. Паровоз, синий дым, гудок, какое-то пощелкивание внутри механизма, синяя — нет, черная кепка машиниста, он выглядывает из окна кабины, смотрит вперед и по сторонам, замечает тебя и улыбается — у него усы. Тянет руку вверх, туда, где, очевидно, приборы и ручка сигнала. Ты догадываешься, что через секунду будет еще один гудок — паровоз вскрикнет, очнется, дернет и потянет за собою вагоны, начнет пускать пар и, набирая скорость, отдуваться. Мягко, сутулясь в неуклюжем стеснении от собственной необъяснимой силы, он укатит за мост, пропадет — растает, и отныне ты никогда не найдешь утешения: о, эта утрата: где отыскать его, черный, как грач, паровоз, где повстречать усатого машиниста, и где еще раз увидеть потрепенные — именно эти, а не иные — вагончики в заплатах, коричневые, грустные и скрипучие. Пропадет

— растает. Запомнишь голос гудка, пар, вечные глаза машиниста, подумаешь, сколько лет ему, где живет, подумаешь — забудешь (пропадет — растает), вспомнишь однажды и не сумеешь поведать ничего кому-то другому — обо всем, что видел: о машинисте и паровозе и о составе, который оба они увезли за мост. Не сумеешь, не поймут, странно глянут: мало ли паровозов. Но если поймут — удивятся. Пропадет — растает. Грач-паровоз, паровоз-грач. Машинист, вагоны, качающиеся на рессорах, кашель сцепщика и рожок. Дальняя дорога, карточные домики за полосой отчуждения — казенные и частные, с палисадниками и с яблочными простыми садами, в окнах — свет или бликующая темнота, там и здесь — неведомая и непонятная тебе жизнь, люди, которых ты никогда не узнаешь. Пропадет — растает. Стоя в протяжных сумерках — руки в карманах серого демисезонного пальто, — мыслишь поезду быструю путевую ночь, хочешь добра всем кочегарам, обходчикам и машинистам, желаешь им путевой доброй ночи, где будут: сонные лица вокзалов, звоны стрелок, паровозы, пьющие из Г-образных хоботов водокачек, крики и ругань диспетчеров, запах тамбура, запах перегоревшего угля и чистого постельного белья, запах чистоты, Вета Аркадьевна, чистого снега, в сущности, запах зимы, самого ее начала, это важнее всего — вы понимаете? Боже мой, ученик такой-то, отчего вы так кричите, просто неудобно, на нас смотрит весь вагон, разве нельзя беседовать обо всем вполголоса. Тогда ты встаешь, выходишь на середину вагона и, подняв руку в знак приветствия, говоришь: граждане пригородные пассажиры, я прошу вашего прощения за то, что беседовал столь громко, мне очень жаль, я поступал неправильно; в школе, в специальной школе, где я когда-то учился, нас учили отнюдь не этому, нас учили беседовать вполголоса, о чем бы ни шла речь, именно так я и старался поступать всю жизнь. Но сегодня я необыкновенно взволнован, сегодня исключительный случай, сегодня я, вернее, на сегодня я назначил свидание моей бывшей учительнице, написав ей взволнованную записку, и вот учительница пришла на заснеженную платформу, дабы увидеться со мной спустя столько-то лет, вот она сидит здесь, в нашем электрическом вагоне, на желтой электрической скамейке, и все, что я говорю ей сейчас и

скажу еще — все наредкость важно, поверьте, вот почему мой голос звучит несколько громче обычного, спасибо за внимание. Взволнованно. Ты хочешь вернуться к Вете, но тут кто-то кладет тебе на плечо руку. Ты оборачиваешься: перед тобой — строгая женщина сорока с лишним лет, чуть седая, в очках в тонкой позолоченной оправе, у женщины зеленые глаза и вертикальные и мучительно знакомые складки у рта. Вглядись — это твоя терпеливая мать. Она уже битый час ищет тебя по всему кладбищу: где ты пропадал, противный мальчик, зачем ты опять уставился на паровозы, она думала, с тобой что-то случилось, уже совсем темно. Отвечай просто и с достоинством: дорогая мама, я увидел зимнюю бабочку, побежал за ней и потому заблудился. Идем немедленно, — сердится мать, — бабушка зовет тебя, она просит показать, как ты научился играть на аккордеоне, сыграй ей что-нибудь скорбное, печальное — ты слышишь меня? и не смей отказываться. Бабушка, ты слышишь меня? Я сыграю тебе пьесу Брамса, называется Картошка, но я не уверен, хорошо ли разучил ее. Я беру аккордеон — инструмент в черном чехле стоит на снегу аллеи, снимаю чехол и сажусь на скамейку. На кладбище вечер, но белый ангел — он рядом — хорошо виден мне, сидящему с аккордеоном три четверти. Ангел расправил крылья свои и осенил меня скорбным вдохновением: и-и-и — раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три, во саду ли, в огороде девушки гуляли, гуля-я-яли, раз-два-три, раз-два-три, не плачь, мама, а то я перестану играть; бабусе хорошо, не надо расстраиваться, раз-два-три, раз-два-три, гуля-я-яли, у нее тоже была избирательная память, у бабушки, гуля-я-яли. Ты помнишь, как звучит аккордеон на морозном воздухе кладбища ранним вечером, когда со стороны железной дороги доносятся звуки железной дороги, когда с далекого моста у самой черты города сыплются и сквозят в оголенных ветвях бузины фиолетовые трамвайные искры, а из магазина у рынка — ты хорошо слышишь и это — разнорабочие увозят на телеге ящики с пустыми бутылками; бутылки металлически лязгают и звенят, лошадь стучит подковами по ледяному булыжнику, а рабочие кричат и смеются — ты ничего не узнаешь и про этих рабочих, и они тоже ничего о тебе не узнают, — так помнишь ли ты, как звучит твоя Баркаролла на морозном воздухе

кладбища ранним вечером? Зачем ты спрашиваешь меня об этом, мне так неприятно вспоминать то время, я устал вспоминать его, но если ты настаиваешь, я отвечу спокойно и с достоинством: мой аккордеон звучит в те минуты одиноко. Могу ли я задать тебе следующий вопрос, меня интересует одна деталь, я собираюсь проверить твою, а заодно и свою память: в те годы, когда ты или я, когда мы навещали вместе с матерью нашу бабушку, чтобы сыграть ей на аккордеоне новую пьесу или пересказать коротко содержание новой прочитанной нами повести из серии книга за книгой, — в те годы наш учитель Норвегов был еще жив или уже умер?

Видишь ли, годы, о которых мы теперь беседуем вполголоса, тянулись довольно долго, они тянулись и тянулись, за это время наставник Савл успел и пожить и умереть. Ты имеешь ввиду, что он сначала жил, а затем умер? Не знаю, во всяком случае он умер как раз посреди этих долгих растянутых лет, и лишь в конце их мы повстречались с учителем на деревянном перроне нашей станции, и в ведре у Норвегова плескались какие-то водяные животные. Но я не понимаю, в каком именно конце указанных лет произошла наша встреча — в том или другом. Я объясню тебе, когда-то в каком-то научном журнале (я показывал отцу нашему эту статью, он полистал и тут же выбросил весь журнал с балкона, причем, выбрасывая, несколько раз выкрикнул слово а к а т о в щ и н а) я прочитал теорию одного философа. К ней было предисловие, мол, статья печатается в беспорядке дискуссии. Философ писал там, что, по его мнению, время имеет обратный счет, то есть, движется не в те сторону, в какую, как мы полагаем, оно должно двигаться, а в обратную, назад, поэтому все, что было — это все еще только будет, мол, истинное будущее — это прошлое, а то, что мы называем будущим — то уже прошло и никогда не повторится, и если мы не в состоянии вспомнить минувшего, если оно скрыто от нас пеленою мнимого будущего, то это не вина, но беда наша, поскольку у всех у нас поразительно слабая память, иначе говоря, подумал я, читая статью, как у меня и у тебя, как у нас с тобой и у нашей бабушки — избиратель-

ная. И еще я подумал: но если время стремится вспять, значит все нормально, следовательно Савл, который как раз умер к тому времени, когда я читал статью, следовательно Савл еще б у д е т, то есть придет, вернется – он весь впереди, как бывает впереди непочатое лето, полное великолепных речных нимфей, лето лодок, велосипедов и лето бабочек, коллекцию которых ты, наконец, собрал и отправил в большом ящике из-под заграничных яиц в нашу уважаемую Академию. Посылку ты сопроводил следующим письмом: "Милостивые государи! не раз и не два устно (по телефону) и письменно (по телеграфу) просил я подтверждения слухов о проведении академического энтомологического конкурса имени одного из двух меловых стариков, стоящих во дворе нашей специальной школы. Увы, я не получил никакого ответа. Но, будучи страстным и в то же –имеющее обратный ход – время беззаветно преданным науке коллекционером, я считаю своим долгом предложить высокому вниманию вашего ученого совета мою скромную коллекцию ночных и дневных бабочек, среди коих вы найдете как летних, так и зимних. Эти последние представляют, повидимому, особый интерес, поскольку – несмотря на многочисленность – почти не заметны в природе и в полете, о чем ваш покорный слуга уже упоминал в беседах со специалистами, в частности, с академиком А. А. Акатовым, чрезвычайно тепло отозвавшимся о настоящей коллекции, насчитывающей ныне более десяти тысяч экземпляров насекомых. О результатах конкурса прошу сообщить по адресу: железная дорога, ветка, станция, дача, звонить велосипедным звонком, пока не откроют". Ты заклеил конверт, и прежде чем положить его к бабочкам в яичный ящик, написал на обратный стороне конверта: лети с приветом, вернись с ответом – крест-накрест, по диагоналям, крупно. Так учила нас преподаватель русского языка и литературы по прозвищу Водокачка, хотя, если искать человека менее всего похожего на водокачку – как внешне, так и внутренне, то лучше нашей Водокачки никого не отыскать. Но тут дело было не в сходстве, а в том, что буквы, составляющие само слово, вернее половина букв (читать через одну, начиная с первой) – это ее, преподавателя, инициалы: В. Д. К. Валентина Дмитриевна Калн – так ее звали. Но остаются еще две буквы – Ч и А, – и я

забыл, как расшифровать их. В понятии наших одноклассников они могли бы означать что угодно, а между тем, не признавалась никакая иная расшифровка, кроме следующей: Валентина Дмитриевна Калн – человек-аркебуза. Забавно, что и на человека-аркебузу Калн походила не больше, чем на водокачку, но если тебя попросят когда-нибудь дать ей, Водокачке, – хотя непонятно, зачем и кому может явиться в голову такая мысль – более точное прозвище, ты вряд ли отыщешь его. Пусть та преподаватель совершенно не была похожа на водокачку, – скажешь ты, – зато она необъяснимо напоминает само слово, сочетание букв, из которых оно состоит (состояло, будет состоять) – В, О, Д, О, К, А, Ч, К, А.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

СКИРЛЫ́

Теперь позволь мне откашляться, посмотреть тебе прямо в глаза и уточнить одну деталь из твоего сопроводительного письма. В нем сказано, будто бы сам Акатов тепло отзывался о нашей коллекции, но я не припомню, чтобы мы беседовали с ним на эту тему – мы вообще ни разу не встречались с ним, мы видели его лишь издали, обычно в щели забора, но как мечтали мы пройти однажды по дорожке Акатовского сада, постучать в двери дома и – когда старик откроет – поздороваться и представить себя: ученик вашей дочери – такой-то, начинающий энтомолог, хотелось бы обсудить с вами некоторые проблемы, etc. Но мы ни разу не осмелились постучать в двери дома его, поскольку – или по другой причине? – в саду жила большая собака. Послушай, я не люблю, когда ты называешь мою коллекцию – н а ш е й коллекцией, тебе никто не давал такого права, я собирал мою коллекцию один, и если мы когда-нибудь сольемся в общем поступке, то поступок этот не будет иметь никакого отношения к бабочкам; ну вот, теперь насчет беседы с Акатовым: это правда, я не обманул Академию, я действительно говорил с ним. Однажды летом, на даче, в воскресенье, когда отец с утра засадил нас переписывать передовые статьи из газет, чтобы мы лучше разбирались в вопросах внешней и внутренней к а л и т и к и, я решил, что ты прекрасно справишься здесь и без меня. Я выждал момент: ты отложил ручку, отвернулся к окну и принялся рассматривать строение цветка сирени, – я неслышно вышел из-за стола, надел отцовскую шляпу – она висела на гвозде в прихожей, взял трость – это была трость одного из наших родственников, забытая им лет пять назад. На платформе станции пять лет назад, вечером. Наша мать – родственнику: я надеюсь, вы

хорошо отдохнули у нас, не раздавите клубнику, помойте, передавайте привет Елене Михайловне и Витюше, приезжайте вместе, не обращайте внимание на мужа, у него это просто нервное, много работает, куча дел, устает, но вы же знаете, он, в общем, добрый, да, в душе мягкий и добрый, но может сорваться иногда, так что приезжайте, приезжайте, только не спорьте с ним, погодите, а где же трость, вы, кажется, были с тростью, вы оставили трость, ах, какая неприятность, что же делать. Взволнованно. Давайте вернемся, будет еще одна электричка. Родственник: помилуйте, не стоит, не беспокойтесь, если бы зонт – куда ни шло, как раз дождь собирается, спасибо за ягоды, признателен, а за тростью мы приедем, подумаешь – трость, чепуха, не в трости, как говорится, счастье, до встречи, уже подходит. Однако с тех пор родственник так и не приехал, и трость находилась на веранде до того самого дня, когда я взял ее и направился в соседний поселок в гости к естествоиспытателю Акатову: тук-тук (собака подбегает и обнюхивает меня, но сегодня я не боюсь ее) , тук-тук. Но никто не открывает двери дома. И тогда еще раз: тук-тук. Но никто не отзывается. Ты обходишь особняк вокруг, по густой газонной траве, заглядываешь в окна, чтобы проверить, есть ли в доме большие настенные часы с боем, которые по твоим рассчетам непременно должны быть, дабы с помощью маятника резать на куски дачное время, – но все окна занавешены. По углам дома врыты в землю пожарные бочки, в них – до половины – ржавая вода, и живут какие-то неторопливые насекомые. Лишь одна бочка совершенно пуста, в ней нет ни воды, ни насекомых, и к тебе является счастлиавя мысль – наполнить ее криком своим. Долго стоишь ты, наклонившись над темной цилиндрической бездной, перебирая в своей избирательной памяти слова, которые лучше прочих звучат в пустоте пустых помещений. Таких слов немного, но они есть. Например, если – изгнанный с урока – бежишь ты по школьному коридору, когда в классах идут занятия, и внутри естества твоего родится желание кричать так, чтобы крик твой леденил кровь лживых и развратных учителей твоих, и чтобы они, оборвав речь свою на полуслове, глотали бы языки и обращались на потеху идиотам-ученикам в меловые столбы и столбики (в зависимости от роста) , то не придумаешь ничего восхитительнее

вопля: бациллы! Как вы считаете, наставник Савл?

Дорогой ученик и товарищ такой-то, сидя ли на подоконнике в уборной, стоя ли у карты перед лицом класса с указкой в руке, играя ли в преферанс с некоторыми сотрудниками в учительской или в котельной, я нередко оказывался свидетелем того, в какой нездешний ужас приводил этот безумный ваш крик и педагогов, и учеников, и даже глухонемого истопника, ибо где-то и кем-то сказано: глухой, придет время – и услышит. Разве не видел я, как совковая лопата, которою неустанно швыряет он уголь в ненасытные адовы топки в течение холодных сезонов, разве – спрашиваю я – не видел я, как совковая лопата выпадала из дланей несчастного старца, когда наставало время вашего крика, время – глухому слышать, и он, обернув ко мне обуглившееся и страшное в танцующих бликах и отблесках пламени, изъязвленное и небритое лицо свое, обретал на минуту дар речи и следом за вами, мотая похмельной головой, кричал – нет, он рычал – то же слово: бациллы, бациллы, бациллы. И столь велик бывал гнев его, и так сильна страсть, что огонь в топках погасал от рыка его. И разве не видел я, как бледнели при вашем крике привычные ко многому учителя спецшколы, и карты, игральные карты, что держали они в руках, обращались в листочки лесного бредовника, имеющего свойство вытягивать гной, и они, педагоги, стонали от ужаса. А разве не видел я, как лица ваших соучеников, и без того бесконечно тупые, становились от вашего вопля еще тупее, и у всех, даже у самых приспособленных к учебе, и у тех, что казались почти здоровыми, вдруг в ответном, хотя и немом, крике отверзались рты – и все недоумки спецшколы орали чудовищным онемевшим хором и больная желтая слюна текла из всех этих испуганных психопатических ртов. Так не спрашивайте меня понапрасну, что думаю я о неистовом и чарующем вашем крике. О, с какою упоительною надсадой и болью кричал бы и я, если бы дано мне было кричать лишь вполовину вашего крика! Но не дано, не дано, как слаб я, ваш наставник, перед вашим данным свыше талантом. Так кричите же вы – способнейший из способных, кричите за себя и за меня, и за всех нас, обманутых, оболганных,

обесчещенных и оглупленных, за нас, идиотов и юродивых, дефективных и шизоидов, за воспитателей и воспитанников, за всех, кому не дано и кому уже заткнули их слюнявые рты, и кому скоро заткнут их, за всех без вины онемевших, немеющих, обезъязыченных – кричите, пьяня и пьянея: бациллы, бациллы, бациллы!

В пустоте пустых помещений неплохо звучат и некоторые другие слова, но, перебрав их в памяти своей, ты понимаешь, что ни одно из них, известных тебе, в этой ситуации не подходит, ибо для того, чтобы наполнить пустую акатовскую бочку, необходимо совершенно особое, новое слово, или несколько слов, поскольку ситуация представляется тебе исключительной. Да, говоришь ты себе, тут нужен крик нового типа. Проходит минут десять. В саду Акатовых – много кузнечиков, они скачут в теплых янтарных травах, и всякий раз прыжок любого – неожидан и быстр, подобно выстрелу из спецшкольной рогатки. Пожарная бочка манит тебя пустотой своей, и пустота эта, и тишина, живущая и в саду, и в доме, и в бочке, скоро становятся невыносимыми для тебя, человека энергического, решительного и делового. Вот почему ты не желаешь больше размышлять о том, что кричать в бочку – ты кричишь первое, что является в голову: я – Нимфея, Нимфея! – кричишь ты. И бочка, переполнившись несравненнмы гласом твоим, выплевывает излишки его в красивое дачное небо, к вершинам сосен – и по дачным душным мансардам и чердаками, набитым всяческим барахлом, по волейбольным площадкам, где никто никогда не играет, по вольерам с тысячами ожиревших кроликов, по гаражам, провонявшим бензином, по верандам, где не полу разбросаны детские игрушки и чадят керосинки, по огородам и вересковым пустошам вкруг дачных поселков – несется эхо – излишки твоего крика: ея-ея-ея-ея-яяяя-а-а! Отец твой, отдыхающий в гамаке у себя на участке, вздрагивает и просыпается: кто там кричал, будь он проклят, мать, мне послышалось, где-то на пруду орал твой ублюдок, разве я не приказал ему заниматься делом. Отец торопится в дом и заглядывает в комнату. Он видит, как ты сидишь за письменным столом и старательно – старание

выражено в том, что ты склонил свою наголо стриженую голову набок и нелепо изогнул спину, будто тебя всего изломали, да, сбросили на камни с высокого обрыва, а затем подошли и еще больше изломали с помощью кузнечных щипцов, которыми держат раскаленные болванки — пишешь. Но отец видит лишь то, что видит, он не знает, не догадывается, что за столом сидишь только один ты, а другой ты стоишь в тот момент возле акатовской бочки, радуясь своему летучему крику. Оглянувшись вокруг, замечаешь ты у сарая довольно пожилого человека в рваном, белом, похожем на медицинский, халате. Человек подпоясан веревкой, на голове у него — треуголка из пожелтевшей газеты, а на ногах — посмотри внимательно, что же у него на ногах, то есть, как он обут — а на ногах у него — я не могу хорошенько рассмотреть, он все-таки сравнительно далеко — на ногах у него, кажется, боты. Пожалуй ты ошибаешься, разве это боты, а не кеды? Трава слишком высокая; если бы ее покосить, то я бы утверждал более определенно насчет обуви его, а так — не разберешь, впрочем, я уже понял: это галоши. А ну-ка, присмотрись, у человека, по-моему, нету брюк, я имею ввиду, что не вообще нету, а в частности, в настоящий момент нету, иными словами — он без брюк. Ничего особенного, сейчас лето, а летом не довольно ли одного халата и галош; в брюках, если надеть халат, будет жарко, поскольку халат — это почти пальто, в какой-то степени пальто, пальто без подкладки, или наоборот, подкладка без пальто, или просто — легкое пальто. И если халат белый, медицинский, то по-иному можно именовать его легким медицинским пальто, а если халат белый но принадлежит не врачу, а, предположим, ученому, смело назови такой халат легким научным пыльником, или — лабораторным пальто. Ты все правильно объясняешь, но мы еще не знаем, кому принадлежит халат, надетый на человека в галошах, проще говоря: кто там столь пожилой и тихий стоит у сарая — в газетной треуголке, в белом пыльнике и галошах на босу ногу, кто это? Неужели ты не узнал его, это сам Акатов, заявивший некогда всему миру, что странные вздутия на различных частях растений — галлы — вызываются тем-то и тем-то, что было весьма опрометчиво с его стороны, хотя, как видишь, справедливость победила и после

того-то и того-то, о чем давно не принято вспоминать, академик спокойно живет у себя на даче, а ты, явившийся к нему для беседы, наполняешь криком его пожарную бочку. И академик, в пристальной настороженности своей похожий на небольшое сутулое дерево, тонким и взволнованным человеческим голосом спрашивает тебя: кто вы, я опасаюсь вас, неужели вас много? Не страшитесь, сударь, – говоришь ты, стараясь быть как можно интеллигентней в манерах и речи, – я совершенно один, абсолютно, а если возникнет кто-то другой, то не верьте ему, будто он – это тоже я, это вовсе не так, и вы, очевидно, догадываетесь, в чем дело; когда он придет, я спрячусь в поленнице, а вы, вы – солгите ему, солгите, умоляю вас, мол, ничего не знаю, здесь никого не было, он поищет и смоется, и мы неторопясь продолжим беседу. А зачем вы так кричали в бочку, – интересуется Акатов, – что вас заставило? Приставив ладонь к уху, добавляет: только говорите громче, я плоховато слышу. Сударь, позвольте я пройду к вам сквозь эти высокие травы. Шагайте, мне кажется, я уже не боюсь вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогой Аркадий Аркадьевич, суть в том, что я ловлю бабочек. А-а, бабочек, и много поймали? Снежных или вообще? – отвечаешь ты вопросом на вопрос. Снежных, разумеется, – говорит академик. Столько-то, – говоришь ты, – я коллекционирую коллекцию, в настоящий момент она вбирает в себя такие-то и такие-то виды. Ого, какая прелесть, – удивляется Акатов, – но отчего так громко, я не выношу крика, коллекционируйте тихо, ради бога. Лицо его, морщинистое и смуглое, как груша в компоте, бледнеет от раздражения. Впрочем, – продолжает он, – вы все равно будете кричать, что бы там ни было, я знаю, это судьба вашего поколения, ведь вы молоды, вам на вид не дашь и шестнадцати. О нет, сударь, вы ошибаетесь, мне давно за двадцать, мне тридцать, видите, ведь я ношу шляпу и трость. Так, ладно, послушайте, – перебивает тебя Акатов, – могу ли я обратиться к вам за консультацией? Оживленно. К вашим услугам, сударь, я весь – внимание. На днях, – академик оглядывается по сторонам и понижает голос почти до шепота, – я изобрел некоторое изобретение, следуйте за мной, оно в сарае, я нынче запер дом и живу в сарае, так удобнее, занимаешь меньше места. То был обыкновенный

сарай, каких немало в нашей дачной местности: потолок — изнанка крыши, стенки из неструганных досок и такой же пол. Что же увидел ты внутри сарая, когда вошел туда, сняв у порога обувь твою и оставив трость, дабы не наследить там? Стол, стул, кровать и стопку книг на подоконнике увидел я там. А над всем этим, щурясь от белого зимнего солнца — в енотовой шубке — на фоне сугроба и дачного заснеженного леса — сияла, летела, царила — твоя несравненная Вета — учительница по анатомии. ботанике, биологии — и на ее удивительном, захлестывающем, как удушливая петля, лице — не было ничего, что помнило бы о тебе или говорило с тобой один на один — о, Нимфея, это лицо было лицом для всех, кто когда-либо смотрел на него, и было обещано многим, — но разве в том страшном, необратимом и неразличимым во тьме номеров и квартир множестве, разве в том числе — было место и для тебя, неуспевающего олуха специальной школы, от неистовой нежности и восторга обратившегося в сорванный тобою же цветок, разве и ты, желая того в неисчислимое число раз больше других, разве и ты был в том числе?! Господи сударь какая изумительная фотография она здесь как живая то есть нет я ошибся стилистическая ошибка я хотел сказать как настоящая как на уроке красивая и недоступная кто это снимал когда почему я ничего не знаю какой-нибудь подлец с фотоаппаратом кто он в каких они отношениях здесь или в другом месте легион вопросов. Так вот, я изобрел некое изобретение: видите, обыкновенная палочка, а? казалось бы. Да да казалось бы сударь казалось бы я тоже приезжаю сюда зимой довольно часто но приезжаю один без всяких там фотографов я не фотографируюсь на фоне сугробов у меня просто нет знакомых с фотоаппаратами, она должна была казалось бы поставить меня в известность мол так и так так и так так и так ездила в Край Козодоя на машине с одним инженером кандидатом искусствоведом режиссером счетоводом черт побери фотографировалась на фоне сугроба на дачу мол даже не заходили чтобы не расчищать дорожки от снега погуляли полчаса и вернулись в город ведь я бы поверил. Но это глубочайшее заблуждение, следите, юноша, я из одного вертикального положения перевожу ее в другое вертикальное положение, а иначе говоря — ставлю ее вверх ногами, и

что же открывается нашему с вами изумленному взору? Ору сударь ору ибо обманутая Нимфея аз есмь лысая слабая плоскостопая с высоким как у настоящего кретина лбом и старым от сомнений лицом взгляните я совершенно ужасен мой нос весь в неприятных угрях а губы вытянуты вперед и расплющены словно я родился от утки и не имеет значения что когда-то в расцвете переломного возраста я учился играть на перламутровой три четверти Баркаролле это не помогло мне все равно мучительно больно. Мы видим обыкновенный гвоздь, вбитый в торец нашей палочки, он вбит шляпкой, а острый конец его смотрит на нас подобно смертоносному стальному жалу, – но не робейте, юноша, я не направлю его в вашу сторону и не причиню вам колющей раны, но я направлю его на всякую бумажку, загрязняющую мой дачный участок, и я проткну ее моим уникальным изобретением, и когда их, бумажек, скопится на острие достаточно, я сниму их с гвоздя, как богатырь снимает с копья насаженных на него врагов, и кину в бездну отхожей ямы, что в углу моего сада – таково мое изобретение, позволяющее мне, старику, не покидать ряды несгибаемых борцов: из-за болезней я не могу нагнуться и поднять бумажку, но благодаря обыкновенной палочке с гвоздиком, я борюсь за чистоту не сгибаясь; так вот, поскольку вы кажетесь мне на редкость порядочным человеком, я позволю себе просить вашего совета, а именно: есть ли, на ваш взгляд, смысл взять патент, запатентовать эту палочку?

Сдерживая негодующий птичий клекот, который мечется в твоем ангинозном горле меж невырезанных гланд: уважаемый Аркадий Аркадьевич, я чрезвычайно ценю ваше изобретение, однако сейчас я сам нуждаюсь в вашем совете – и даже в большей степени, чем вы – в моем, у вас вопрос честолюбия, а у меня – извините, я говорю, как в романе и оттого мне как-то неловко и смешно, – у меня к вам вопрос целой жизни. Подождите, подождите, я опять начинаю опасаться вашего присутствия, неужто вы действительно собираетесь спросить меня о чем-то важном, дайте я сяду, неужели вам что-либо нужно от немолодого полунезрячего дачника, да кто вы такой, в конце концов, чтобы задавать мне

вопросы, и потом – перестаньте кричать в мою прекрасную бочку. Больше не стану, сударь, я готов объяснить все, я живу по-соседству, на даче моих родителей, а здесь вокруг так красиво, что один раз со мной случилась неприятность, но об этом после, главное в том, что я ненавижу одну женщину, еврейку, Шейну Тинберген, она – ведьма, она работает завучем у нас в школе, поет про кота, ну вы, наверное, учили в детстве эту песенку: тра-та-та, тра-та-та, вышла кошка за кота, за Кота Котовича, – а, кстати, помните, как звали кота, сударь? Минутку, юноша, – Акатов трет голубые пульсирующие виски, напрягая память, – кота звали Трифон Петрович. Верно, впрочем, я опять не о том, к черту Трифона Петровича, он обыкновенный экскаваторщик, лучше побеседуем о самой Шейне. Представляете, когда она, эта хромая старуха, приплясывая, движется по огромному пустому коридору (лампы горят через одну, вторая смена убежала домой, и только меня оставили после уроков делать уроки на завтра), а я стою в конце его или иду ей навстречу, держа наготове почтительный наклон головы, мне становится так жутко, как не бывает даже во сне после уколов. Нет, она никогда не делала мне ничего дурного, и я говорил (говорю, буду говорить) с ней лишь о патефоне; и хотя он у меня сто лет не работает и не должен бы играть ни за какие деньги, когда Шейна уносит его в свою комнату и запирается, то он играет как новый. Точнее, он не играет, а рассказывает: старуха крутит на нем пластинку с голосом своего покойного мужа, который повесился, потому что она изменяла ему с Сорокиным в гараже, или нет, повесился Сорокин, а ее муж, Яков, он отравился. Понимаю, – отзывается Акатов, – но какого рода текст записан там, на пластинке? А-а, вот-вот, это-то и есть самое главное, там, на пластинке покойный Яков читает С к и р л ы. Помилуйте, юноша, впервые слышу. Кошмарная штука, сударь, я даже не решаюсь, но вкратце так: понимаете, С к и р л ы – это название сказки, страшная детская сказка про медведя, я не сумею в точности, вобщем, в лесу живет медведь, казалось бы ничего особенного, казалось бы! но беда состоит в том, что медведь тот – инвалид, калека, у него нету одной ноги, причем непонятно, как так все получилось, только известно, что ноги нету, помоему, задней ноги, и вместо нее у медведя деревянный

протез. Он, медведь, выточил его из ствола липы — топором, и когда медведь идет по лесу, далеко слышен скрип протеза, он скрипит так, как называется сказка: с к и р л ы, с к и р л ы. Яков хорошо подражает этому звуку, у него был скрипучий голос, он служил провизором. В сказке участвует еще и девочка, повидимому меловая, она боится медведя и не отлучается из дома, но однажды — черт его знает, как так получилось — медведь все же подстерегает ее и уносит в специальном — лубяном, что ли, — коробе к себе в берлогу и что-то там с ней делает, неизвестно что именно, в сказке не объясняется, на том все и кончается, ужасно, сударь, не знаешь, что и думать. Когда я вспоминаю С к и р л ы — хотя я стараюсь не вспоминать, лучше не вспоминать — мне мерещится, будто девочка та — не девочка, а одна моя знакомая женщина, с которой у меня близкие отношения, вы понимаете, конечно, мы с вами — не дети, и мне мерещится, что медведь — тоже не медведь, а какой-то неизвестный мне человек, мужчина, и я прямо вижу, как он что-то делает там, в номере гостиницы, с моей знакомой, и проклятое с к и р л ы слышится многократно, и меня тошнит от ненависти к этому звуку, и я полагаю, что убил бы того человека, если бы знал, кто он. Мне тяжело думать про сказку С к и р л ы, сударь, но, поскольку я редко делаю домашнее задание, меня часто оставляют после уроков делать уроки на завтра и на вчера, и оставшись один в классе, я обычно выхожу пройтись в коридор, а выйдя, встречаюсь там с Тинберген, а когда я вижу ее, грядущую искалеченной, но вместе и какой-то почти веселой, танцующей походкой, и слышу тоскливый — как крик одинокого козодоя — скрип ее протеза, то — увольте, сударь, — не могу не думать о сказке С к и р л ы, потому что звук именно тот самый, как в гостинице, и она сама, седобородая ведьма с заспанным лицом старухи, которая уже умерла, но которую насильно разбудили и заставили жить, она, в сумеречном свете безлюдного коридора, где бликующий паркетный пол, она сама и есть С к и р л ы, воплотившая в себе все самое печальное из этой истории с девочкой, хотя я до сего дня не разберусь, в чем тут дело, и отчего все это так, а не по-другому.

Да, юноша, да, я без труда понимаю вас. Задумчиво. Когда-то что-то похожее было и у меня, что-то такое случалось, происходило и в моей юности, я, разумеется, не помню, что конкретно, однако все в той или иной мере походит на ваш случай. Но – спрашивает вдруг Акатов – в какой школе вы обучаетесь, я ничего не соображаю, ведь вам уже за двадцать, вам тридцать, в какой же школе? В специальной, сударь. Ах вот как, – говорит академик (вы покидаете сарай и ты в последний раз оглядываешься на ее фотографию), – и на чем же специализируется ваша школа? Впрочем, если вам трудно или неудобно или если это секрет, – не отвечайте, я не вынуждаю, в вашем ответе нет почти никакой надобности, как и в моем вопросе, мы беседуем с вами по-свойски, мы ведь не на экзаменах в Оксфорде, поймите меня правильно, я поинтересовался просто так, спросил – чтобы спросить, так сказать, в порядке бреда, любой из нас вправе задать любой вопрос и любой вправе не отвечать на любой вопрос, но, к сожалению, здесь – здесь и там, повсюду, еще не многие усвоили эту истину, о н и заставляли меня отвечать на каждый их вопрос, о н и – в заснеженных. Но я же – не о н и, – продолжал Акатов, распахивая и запахивая белый научный пыльник, – и не отвечайте мне, если нет охоты, лучше посидим молча, оглянемся вокруг, послушаем, как поет лето – и прочее, нет-нет, не отвечайте, я ничего не желаю знать о вас, вы и так стали мне симпатичны, вам удивительно к лицу эти трость и шляпа, только шляпа чуть велика, вы, верно, приобрели навырост. Вот именно, навырост; но я хотел бы ответить, тут нет ничего неудобного: школа, где я занимаюсь, специализируеся на дефективных, это школа для дураков, мы все, которые там учатся, – ненормальные, каждый по-своему. Позвольте, я что-то слышал об одном подобном заведении, там сотрудничает кто-то из моих знакомых, но вот кто именно? Вы, возможно, имеете ввиду Вету Аркадьевну, она работает у нас в школе, ведет то-то и то-то. Ну конечно же! Вета, Вета, Вета, разута и раздета, – без всякого мотива пропел, в рассеянности пощелкивая пальцами, Акатов. Что за чудная песенка, сударь! Ерунда, юноша, семейная частушка-пустушка, из прежних лет, лишена смысла и мелодии, забудьте ее, боюсь, она развратит вас. Никогда, никогда, – взволнованно.

Что? Я сказал, я никогда не забуду ее, она страшно нравится мне, я ничего не могу поделать; да, у нас с ней некоторая разница в возрасте, но, как бы лучше определить, сформулировать, нас объединяет большее, нежели разъединяет, вы говорите, о чем это я, а я, по-моему, выражаюсь предельно ясно, Аркадий Аркадьевич. То общее, о котором я только что упомянул – привязанность ко всему, что мы с вами, являясь людьми науки, назовем живой природой, все растущее и летающее, цветущее и плавающее – это то самое и есть и цель моего визита к вам – не только бабочки, хотя я – честное слово – ловил их с самого детства и не перестану ловить, пока у меня не отсохнет правая рука, подобно руке художника Репина, и я пришел к вам не для того, чтобы кричать в бочку, хотя и в этом занятии я склонен видеть высокий смысл, и я никогда не брошу кричать в бочки и буду заполнять криком своим пустоту пустых помещений, покуда не заполню их все, чтобы не было мучительно больно, однако я снова отклоняюсь, короче: я люблю вашу дочь, сударь, и готов сделать все для ее счастья. Больше того, я намерен жениться на Вете Аркадьевне, как только позволят обстоятельства. Торжественно, с достоинством и легким поклоном.

Бедный Акатов, это было так неожиданно для него, боюсь, ты немного огорчил старика, наверное тебе следовало лучше подготовить его к подобному разговору, например, написать два-три предупредительных письма, известить о своем приходе заранее, позвонить или что-нибудь в таком роде, боюсь, ты поступил бестактно, а потом – так делать нечестно: ты не имел права просить руки Веты Аркадьевны один, без меня, я тоже никогда не забуду ее и все растущее и летающее необъяснимо сближает и меня с ней, растущее и летающее является общим и для нас, для меня и для нее, ты сам знаешь, но ты, конечно, ничего не сообщил Акатову обо мне, о том, кто гораздо лучше и достойнее тебя, и за это я ненавижу тебя и расскажу тебе о том, как некто, неразличимый в сумраке гостиничного коридора, ведет нашу Вету к себе в номер, и там, там... Нет погоди я совершенно не виноват ты загляделся на лепестки сирени ты переписывал статью я ушел из дома отца моего случайно я не предполагал

что мне удастся могло ничего не получится я хотел видеть Акатова только насчет бабочек я бы все обязательно сказал ему и о тебе о твоем огромном нечеловеческом чувстве которое ты же знаешь которое я так уважаю я бы сказал что не один что нас двое я и говорил ему про это сначала я сказал бы сударь да я люблю вашу дочь но есть человек который будучи несравненно достойнее и лучше меня любит ее в сто раз горячей, и хотя я благодарен вам за положительное решение вопроса, следовало бы, очевидно, пригласить и того человека, он, без сомнения, понравится вам больше, хотите, я позову его, он тут, недалеко, в соседнем поселке, он собирался прийти, но был несколько занят, у него дело, срочная переписка (он что – переписчик? нет-нет, что вы, просто есть люди, вернее – один человек, который заставляет его коечто переписывать из газет, так нужно, без этого ему было бы нелегко жить в том доме), а кроме того, он загляделся на лепестки сирени, а я не решился отвлечь, давайте же я позову его, – сказал бы я академику, если бы решение вопроса оказалось положительным. А разве Акатов отказал тебе? Только скажи мне всю правду, не лги, или я страшно возненавижу тебя и пожалуюсь наставнику Савлу: мертвый или живой – он никогда не терпел лицеприятия и лукавства. Клянусь тебе этим пламенеющим в наших сердцах именем, что отныне и впредь, я, ученик специальной школы – такой-то по прозвищу Нимфея Альба, человек высоких стремлений и помыслов, борец за вечную людскую радость, ненавистник черствости, эгоизма и грусти, в чем бы они ни проявлялись, я, наследник лучших традиций и высказываний нашего педагога Савла, клянусь тебе, что ни разу уста мои не осквернит ни единое слово неправды, и я буду чист, подобно капле росы, родившейся на берегах нашей восхитительной Леты ранним утром – родившейся и летящей, чтобы оросить чело меловой девочки Веты, которая спит в саду столько-то лет вперед. О, говори! как я люблю эти высказывания твои, исполненные силы и красноречия, вдохновения и страсти, мужества и ума. Говори, торопясь и глотая слова, нам нужно обсудить еще много разных проблем, а времени так мало, наверное, не больше секунды, если я правильно понимаю смысл упомянутого слова.

Тогда Акатов (нет-нет, я сам предполагал, что он станет смеяться, будет издеваться над моей, точнее, отцовской шляпой, и над тем, что я не слишком красив, более того — уродлив, а между тем прошу руки такой несравненной женщины) просто посмотрел на меня, опустил голову и стоял, размышляя о чем-то, скорее всего — о нашем разговоре, о моем признании. Причем, если до последних слов моих он походил на небольшое сутулое дерево, то тут — прямо на глазах — сделался похожим на небольшое сутулое дерево, которое высохло и перестало чувствовть даже прикосновения трав и ветра: Акатов размышлял. Тем временем я читал газетные заголовки на его треуголке и рассматривал его научный пыльник — широкий, свободный, из которого, как язык из колокола, висели худые и венозные ноги Акатова, ноги мыслителя и честолюбца. Мне нравился пыльник, и я думал, что с удовольствием носил бы такой же, если бы имел возможность купить. Я носил бы его повсюду: во саду ли, в огороде, в школе и дома, за рекой в тени деревьев и в почтовом дилижансе дальнего следования, когда за окнами — дождь и плывущие мимо деревни, крытые соломой, нахохлились, будто мокрые куры, и душа моя человеческими страданями уязвлена есть. Но пока — пока я не стал инженером — у меня нет пыльника, я ношу обыкновенные брюки с отворотами, перешитые из старых прокурорских отца моего, о четырех пуговицах двубортный пиджак и ботинки с металлическими полузаклепками — в школе и дома. Сударь, отчего вы молчите, неужели я чем-то обидел вас, или вы сомневаетесь в искренности моих слов и чувств к Вете Аркадьевне? Поверьте, я никогда не смог бы солгать вам, человеку, отцу обожаемой мною женщины, не сомневайтесь, пожалуйста, и не молчите, иначе я повернусь и уйду, дабы наполнить криком своим пустоту наших дачных поселков — криком о вашем отказе. О нет, юноша, не уходите, мне будет одиноко, знаете, я без колебаний принимаю на веру каждое ваше слово, и если Вета согласится, я не стану иметь ничего против. Поговорите с ней, поговорите, вы же еще не открылись ей самой, она, я догадываюсь, ничего пока не подозревает, и что же мы можем решить без ее согласия, понимаете? мы ничего не можем решить. Задумчиво с трудом слова подбирая слова подбирая глазами предварительно отыскивая их в траве где сухо скачут недо-

вольные чем-то кузнечики причем у всякого зеленый выходной фрак зеленые дирижеры слова подбирая в траве. Не скрою, сударь, я, в самом деле, еще не объяснялся с Ветой Аркадьевной, просто не было времени; хотя мы встречаемся довольно часто, наши беседы обычно касаются другого, мы говорим больше о делах науки, у нас много общего, это закономерно: два молодых биолога, два естествоиспытателя, два ученых, п о д а ю щ и х о д е ж д ы. Но помимо того — с обеих сторон — зреет — уже назрело — нечто совсем особое, общность интересов дополняется какой-то иной общностью. Прекрасно понимаю вас, юноша, в ваши лета что-то похожее произошло и со мной, со мной и с одной женщиной, мы были наивны, хороши собой и потеряли головы. Дорогой Аркадий Аркадьевич, я намерен сделать вам заодно еще одно признание. Видите ли, я не вполне уверен, что нравлюсь Вете Аркадьевне как мужчина, возможно, та общность, о которой я упоминал, основана со стороны вашей дочери лишь на человеколюбии, я имею ввиду, что она любит меня только как человека, я не утверждаю, но лишь предполагаю это из боязни показаться смешным, мне бы не хотелось очутиться в сомнительном положении. А поскольку вы — отец Веты Аркадьевны и знаете ее вкусы и характер куда лучше, чем я, осмеливаюсь спросить вас: достоин ли я, по вашему мнению, симпатии вашей дочери и как мужчина, я как-то смутно опасаюсь, что кажусь ей несколько неинтересным. Посмотрите, вглядитесь внимательно, так ли это в действительности, или может лишь показаться. Неужто черты мои столь уродливы, что и самые возвышенные чувства из всех доступных человеку, не улучшили лица и стати моих? Но, ради бога, не лгите, прошу вас. Какая чепуха, — отвечает Акатов, — вы совершенно нормальны, совершенно, я предполагаю, многие молодые женщины согласились бы пройти с вами по жизни рука об руку — и никогда бы не пожалели. Единственно, что я посоветовал бы вам как ученый — чаще пользоваться носовым платком. Чистая условность — но как она облагораживает, возносит, приподнимает личность над толпой современников и обстоятельств. Правда, в ваши годы я тоже не знал этого, но зато знал многое прочее, я собирался защищать первую диссертацию и жениться на женщине, что стала позднее матерью Веты. К тому времени я уже работал, много работал и много зарабатывал — а вы? Да,

кстати, как вы предполагаете строить вашу семейную жизнь, на каких основах, осознаете ли вы, какая ответственность ляжет на вас как на главу семьи? это очень важно. Сударь, я не мог не догадываться, что вы зададите такой вопрос, и был готов к нему задолго до того, как навестил вас. Я хорошо понимаю, что вы имеете в виду, я уже все знаю, потому что много читаю. Кое о чем я узнал раньше, еще до разговора с нашим географом Норвеговым, но после того, как мы встретились с ним однажды в уборной и потолковали обо всем таком начистоту, мне сделалось понятным почти все. Кроме того, Савл Петрович дал почитать одну книгу, и когда я почитал ее, то понял все до конца. Что же вы поняли? – спрашивает Акатов, – поделитесь.

Савл Петрович сидит на подоконнике спиной к закрашенному стеклу, а лицом к кабинкам; босые ступни ног его покоятся на радиаторе, и колена высоко подняты, так что учитель удобно опирает на них подбородок. Экслибрис, книга за книгой. Глядя на двери кабинок, исписанные хулиганскими словами: как много неприличного, как некрасиво у нас в уборной, сколь бедны наши чувства к женщине, как циничны мы, люди спецшколы. Мы не умеем любить нежно и сильно, нет – не умеем. Но дорогой Савл Петрович, – стоя перед ним в белых тапочках из брезента, на зловонном кафеле, возражаю я, – несмотря на то, что я не знаю, что и думать, и каким образом успокоить вас, лучшего в мире учителя, считаю необходимым напомнить вам следующее: ведь вы-то, вы сами, вы лично – неужто не любите вы сильно и нежно одну мою одноклассницу, меловую девушку Розу. О Роза Ветрова, – говорили вы ей однажды, – милая девушка, могильный цвет, как хочу я нетронутого тела твоего! А также шептали: в одну из ночей смущенного своею красотой лета жду тебя в домике с флюгером, за синей рекой. А также: то, что случится с нами в ту ночь, будет похоже на пламя, пожирающее ледяную пустыню, на звездопад, отраженный в осколке зеркала, выпавшего вдруг из оправы, дабы предупредить хозяина о грядущей смерти, это будет похоже на свирель пастуха и на музыку, которая еще не написана. Приди ко мне, Роза Ветрова, неужели тебе

не дорог твой старый мертвый учитель, шагающий по долинам небытия и нагорьям страданий. А также: приди, чтобы унять трепет чресел твоих и утолить печали мои. Да, милый мой, я говорил, а может, только скажу ей эти или похожие слова, но разве слова что-нибудь доказывают? Не помыслите только, будто я лицемерил (буду лицемерить), мне не свойственно, я не умею, но бывает — и вы когда-нибудь убедитесь сами — бывает, человек лжет, не подозревая о том. Он уверен, что говорит правду, и уверен, что исполнит то, что обещает исполнить, но он говорит неправду, и никогда не исполнит, что обещает. Так случается чаще всего в детстве, но потом и в юности, а затем в молодости и в старости. Так случается с человеком тогда, когда он пребывает в состоянии страсти, ибо страсть безумству подобна. Спасибо, я не знал, я разберусь, я лишь подозревал об этом — об этом и о многом другом. Понимаете, меня тревожит одно обстоятельство, и сегодня, здесь, после уроков, когда на улице сыро и ветренно, а вторая смена будущих инженеров ушла домой, дожевывая помятые в портфелях бутерброды (бутерброды необходимо съесть, чтобы не огорчать терпеливых матерей своих), я намерен сделать вам, Савл Петрович некое сообщение, которое, вероятно, покажется вам невероятным, оно может заставить вас разочароваться во мне. Я давно собирался посоветоваться с вами, но всякий день откладывал разговор: полно контрольных, слишком донимают заданиями на дом, и пусть я не делаю их, сознание долга гнетет и давит. Утомительно, Савл Петрович. Но вот настал момент, когда я хочу и могу сделать это сообщение. Дорогой учитель! в лесных, затерянных в полях, хижинах, в почтовых дилижансах дальнего следования, у костров, дым коих создает уют, на берегах озера Эри или — не помню точно — Баскунчак, на кораблях типа Бигль, на крышах европейских омнибусов и в женевском туристическом бюро пропаганды и агитации за лучшую семейную жизнь, в гуще вереска и религиозных сект, в парках и палисадниках, где на скамейках нет свободных мест, за кружкой пива в горном кабачке У кота, на передовых первой и второй мировых войн, стремительно едучи на нартах по зеленому юконскому льду, обуреваемый золотой лихорадкой, и в прочих местах — тут и там, дорогой учитель, размышлял я о

том, что есть женщина, и как быть, если настало время действовать, я размышлял о природе условностей и особенностях плотского в человеке. Я думал о том, что такое любовь, страсть, верность, что значит уступить желанию и что значит не уступать ему, что есть вожделение, похоть; я мыслил о частностях совокупления, мечтая о нем, ибо из книг и прочих источников знал, что оно доставляет радость. Но беда в том, что ни там, ни там, ни там ни разу за всю жизнь не случалось мне б ы т ь, а иначе, вульгарно говоря, – с п а т ь с какой-либо женщиной. Я просто не знаю, как это бывает, я бы, наверное, сумел, но не представляю, с чего начать все это, а главное – с кем. Нужна, очевидно, какая-то женщина, лучше всего – знакомая, которую давно знаешь, которая что-нибудь подсказала бы в случае чего, в том случае, если бы что-то не получилось сразу; нужна весьма добрая женщина, я слышал, что лучше всего, если вдова, да, говорят, что почему-то вдова, но я не знаком ни с одной вдовой, только с Тинберген, но она все-таки завуч, и у нее есть Трифон Петрович (а патефон есть только у меня), а других знакомых женщин у меня нет – только Вета Аркадьевна, но я не хотел бы с ней, ведь я люблю ее и намерен на ней жениться, это разные вещи, я совершенно не думаю, заставляю себя не думать о ней как о женщине, я понимаю, что она слишком красива, слишком порядочна, чтобы позволить себе со мной что-либо до свадьбы – не так ли? Правда, есть еще знакомые девочки из класса, но если бы я начал ухаживать за одной из них, например, за той, что умерла недавно от менингита, и мы собирали ей на венок, то боюсь, это не слишком понравилось бы Вете Аркадьевне, подобные вещи сразу заметны: в небольшом коллективе, на виду у соучеников и преподавателей – тут все сразу стало бы ясно, Вета поняла бы, что я намерен изменить ей, и у нее возникли бы справедливые претензии, а тогда наш брак мог бы расстроиться, рухнули бы все надежды, а мы питали их так долго! Несколько раз, Савл Петрович, я пытался знакомиться с женщинами на улице, но я, наверное, не знаю подхода, я не элегантен, некрасиво одет. Короче, у меня ничего не выходило, меня прогоняли, но не скрою – так как ничего не скрою от вас, дорогой наставник, – не скрою, что однажды у меня едва не завязалось знакомство с интересной молодой женщиной, и хотя я

не сумею описать ее, поскольку не запомнил ни лица, ни голоса, ни походки ее, я берусь утверждать, что она была необычайно красива, подобно большинству женщин.

Где же я повстречал ее? Наверное в кино или в парке, а скорее всего — на почте. Женщина сидела там, за окошечком и ставила штемпели на конвертах и открытках. Был Всежитейский День защиты козодоя. В тот день с утра я положил для себя, что весь день стану собирать марки. У меня. правда, не оказалось дома ни одной марки, но зато нашлась спичечная этикетка с изображением какой-то птицы, которую нам всем следует охранять. Я понял — это и есть козодой, и отправился на почту, чтобы мне поставили на него штамп, и женщина, сидевшая там, за окошечком, мне сразу понравилась. Ты сказал нашему учителю, что не можешь описать ту женщину; в таком случае опиши хотя бы день, когда произошла ваша встреча, поведай о том, как было на улице и о том, какая стояла погода, если это, естественно, не затруднит тебя. Нет-нет, тут нет ничего сложного, и я с удовольствием выполню твою просьбу. Облака в то утро шли по небу быстрее обычного, и я видел, как поспешно появлялись и растворялись друг в друге белые ватные лики. Они сталкивались и наплывали один на другой, цвет их менялся от золотого до сиреневого. Многие из тех, кого мы называем прохожими, улыбаясь и щурясь от рассеянного, но все же сильного солнечного света, как и я, наблюдали передвижение облаков и, подобно мне, ощущали приближение будущего, вестником которого и были эти н е в ы у ч е н н ы е облака. Не поправляй меня, я не ошибся. Когда я иду в школу или на почту, чтобы мне поставили штемпель на спичечную этикетку с изображением козодоя, мне легко бывает отыскивать вокруг себя и в памяти вещи, явления — и мне приятно о них думать, — которые невозможно ни задать на дом, ни выучить. Никто не в состоянии выучить: шум дождя, аромат маттиолы, предчувствие небытия, полет шмеля, броуновское движение и многое прочее. Все это можно изучить, но в ы у ч и т ь — никогда. Сюда же относятся и облака, тучи, полные беспокойства и будущих гроз. Кроме облачного неба, в то утро была улица, ехали какие-то ма-

шины, и в них ехали какие-то люди, было изрядно жарко. Я слышал, как на газонах росла нестриженная трава, как во дворах скрипели детские коляски, гремели крышки мусорных баков, как в подъездах лязгали двери лифтовых шахт, и в школьном дворе ученики первой смены стремглав бежали укрепляющий кросс: ветер доносил биение их сердец. Я слышал, как где-то далеко, быть может, в другом конце города, слепой человек в черных очках, стекла которых отражали и пыльную листву плакучих акаций, и торопливые облака, и дым, ползущий из кирпичной трубы фабрики офсетной печати, просил идущих мимо людей перевести его через улицу, но всем было некогда, и никто не останавливался. Я слышал, как на кухне – окно в переулок было распахнуто – два старика, переговариваясь (речь шла о Нью-Орлеанском пожаре 1882 года), варили мясные щи: стоял день получения пенсии; я слышал, как булькало в их кастрюле, и счетчик отсчитывал кубосантиметры сожженного газа. Я слышал, как в других квартирах этого и соседних домов стучат печатные и швейные машинки, как листают подшивки журналов и штопают носки, сморкаются и смеются, бреются и поют, смежают веки или от нечего делать барабанят пальцами по туго натянутым стеклам, подражая голосу косого дождя. Я слышал тишину пустых квартир, чьи владельцы ушли на работу и вернутся лишь к вечеру, или не вернутся, потому что ушли в вечность, слышал ритмическое качание маятников в настенных часах и тиканье ручных часов разных марок. Я слышал поцелуи и шепот, и душное дыхание незнакомых мне мужчин и женщин – ты никогда ничего о них не узнаешь, – делающих с к и р л ы, и я завидовал им, и мечтал познакомиться с женщиной, которая позволила бы мне сделать с ней то же самое. Я шел по улице и читал подряд вывески и рекламы на домах, хотя давно знал их все наизусть, я выучил каждое слово той улицы. Левая сторона. Р Е М О Н Т Д Е Т С К И Х К О Н С Т Р И К Т О Р О В. В витрине – плакатный мальчик, мечтающий стать инженером, он держит в руке большую модель планера. М Е Х А З А П О Л Я Р Ь Я. В витрине – белый медведь, чучело с открытой пастью. К И Н О - Л И С-Т О П А Д - Т Е А Т Р. Настанет день и мы придем сюда

вдвоем: Вета и я; какой ряд ты предпочитаешь? – спрошу я у Веты, – третий или восемнадцатый? Не знаю, – скажет она, – не вижу разницы, бери любой. Но тут же добавит: впрочем, я люблю поближе, возьми десятый или седьмой, если это не слишком дорого. А я скажу обиженно: что за ерунда, милая, причем здесь деньги, я готов отдать все, лишь бы тебе было хорошо и удобно. П Р О К А Т В Е Л О С И П Е Д О В. После кино мы непременно возьмем напрокат два велосипеда. Девушка, выдающая велосипеды напрокат, белокурая и улыбчивая, с обручальным кольцом на правой руке, завидя нас, засмеется: наконец-то нашлись клиенты, странно – на улице такая теплынь, а кататься никто не хочет, просто странно. Ничего странного, – весело скажу я, – весь город в такую погоду уехал за город, сегодня ведь воскресенье, все с утра на дачах, а там – у каждого в сарае стоит свой собственный велосипед, мы вот тоже собрались на дачу, поедем на ваших велосипедах, прямо по шоссе, своим ходом: в электричке, несмотря на мороженое, должно быть душно. Смотрите, острожнее, – предупредит девушка, – на шоссе большое движение, держитесь ближе к обочине, следите за знаками, не превышайте скорость, обгон только слева, осторжно – пешеходы, движение регулируется вертолетами и радарами. Конечно, мы будем внимательны, нам ни к чему терять головы, особенно теперь, через неделю после свадьбы, мы так долго питали надежды. Ах, вот как, – улыбнется девушка, – значит, у вас свадебное путешествие. Да, мы решили немного проехаться. Когда вы вошли, я так и подумала – молодожены: вы ужасно подходите друг другу,поздравляю,мне так приятно, я сама замужем совсем недавно,мой муж,– мотогонщик, у него прекрасный мотоцикл, мы ездим очень быстро. Я тоже люблю гонки, – поддержит разговор Вета, – и мне хотелось бы, чтобы и мой муж был мотоциклистом, но, к сожалению, он инженер, и у нас нет мотоцикла, у нас только машина. Да, – повторю я, – к сожалению, только машина, да и та подержанная, но, в принципе, я мог бы купить и мотоцикл. Конечно, купите, – улыбнется девушка – купите, а муж научит вас ездить, мне представляется, это не слишком сложно, главное, вовремя выжать сцепление и отрегулировать радиатор. И тут Вета предложит: знаете что, почему бы

вам с мужем не заехать к нам на будущей неделе, приезжайте на мотоцикле, наша дача стоит у самой воды, вторая просека налево, будет очень весело, пообедаем, выпьем чаю. Спасибо, – ответит девушка, – мы обязательно приедем, я на днях как раз беру отпуск, скажите только, какой торт вам нравится: гусиные лапки или праздничный, я привезу к чаю. Лучше праздничный, гусиные лапки мы с мужем купим сами, да, праздничный, да, и если это не очень обеспокоит, возьмите заодно килограмма два трюфелей, деньги я сразу верну. Ну что вы, какие там деньги! Р Ы Б А - Р Ы Б А - Р Ы Б А. З О О - С Н Е Г И Р Ь - М А Г А З И Н. Аквариумы с тритонами и зеленые – на жердочках – попугаи. К Р А Е В Е Д Ч Е С К И Й М У З Е Й. Будь любознательным, изучай свой край, это полезно. А С П - агентство секретных перевозок. О Б У В Ь. И слово "обувь" как "любовь" я прочитал на магазине. Ц В Е Т Ы. К Н И Г И. Книга – лучший подарок, всем лучшим во мне я обязан книгам, книга – за книгой, любите книгу, она облагораживает и воспитывает вкус, смотришь в книгу, а видишь фигу, книга – друг человека, она украшает интерьер, экстерьер, фокстерьер, загадка: сто одежек и все без застежек – что такое? отгадка – книга. Из энциклопедии: статья к н и ж н о е д е л о н а Р у с и: книгопечатание на Руси появилось при Иоанне Федорове, прозванном в народе первопечатником, он носил длинный библиотечный пыльник и круглую шапочку, вязаную из чистой шерсти. И тогда пароходный повар Илья дал ему книгу: на, читай. И сквозь хвою тощих игол, орошая бледный мох, град запрядал и запрыгал, как серебряный горох. Потом еще: я приближался к месту моего назначения – все было мрак и вихорь. Когда дым рассеялся, на площадке никого не было, но по берегу реки шел Бураго, инженер, носки его трепетал ветер. Я говорю только одно, генерал, я говорю только одно, генерал: что, Маша, грибы собирала? Я часто гибель возвращал одною пушкой вестовою. В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек. А вы – говорите, эх, вы-и-и! А белые есть? Есть и белые. Цоп-цоп, цайда-брайда, рита-умалайда-брайда, чики-умачики-брики, рита-усалайда. Ясни, ясни, на небе звезды, мерзни, мерзни, волчий хвост! Правая сторона. Б О Т Ы - З О Н Т Ы - Т Р О С Т И, все в одном магазине,

чтобы, не машкая, купить все сразу. А Т Е Л Ь Е М О Д, дом еьлета. К О Л Б А С Ы. Кому колбасы, а вот – кому колбасы горяченькой с булкой! Г А Л А Н Т Е Р Е Я – Т Р И К О Т А Ж. П А Р К О Т Д Ы Х А, забор тянется на двенадцать с половиной парсеков. И только за ним – П О Ч Т А. Здравствуйте, могу я поставить штемпель на свою марку, а точнее – могу я, чтобы мне поставили, а еще лучше так: как мне сделать, чтобы мне с вашей помощью поставили штемпель на мою же марку, погасив ее. Дайте сюда, покажите, какая же это марка, мальчик, это спички. Я знаю, я просто думал, что вам все равно, здесь тоже нарисован козодой, взгляните. Она посмотрела и усмехнулись: нужно отклеить этикетку над паром. Ладно, хорошо, я отпарю, я проживаю недалеко, мне кажется, я сумею уговорить маму, чтобы она разрешила мне поставить чайник (мама, могу я согреть чайник? ты хочешь чаю? разве ты пьешь чай перед школой, какой может быть чай, когда время обедать. Дело в том, мама, что необходимо отклеить этикетку над паром. Над паром? Над паром, так сказали на почте. О, господи, ты опять что-то выдумал, на какой еще почте, кто сказал, зачем, какая этикетка, ты же отпаришь себе лицо!), но я не уверен, нельзя ли сделать это у вас на почте, однажды я случайно увидел – окно было открыто – как вы пьете чай в комнате, где посылки и бандероли, вы пили электрический чайник, вас было несколько женщин и один мужчина в пальто, вы смеялись. Да, правильно, – сказала она, – у нас же есть, иди сюда, мальчик.

И ты пошел за ней по длинному коридору, где висели лампочки без абажуров и пахло настоящей почтой: сургуч, клей, бумага, бечевка, чернила, стеарин, казеин, перезревшие груши, мед, сапоги со скрипом, крем-брюле, дешевый уют, вобла, побеги бамбука, крысиный помет, слезы старшего письмоводителя. В конце коридора была небольшая зала, она как бы венчала его: так венчает озеро, в которое она впадает. В зале на стеллажах лежали посылки и бандероли, адресованные туда и сюда, окно было зарешечено, а посреди комнаты на столе серебрился электрочайник с пестрым шнуром, который заканчивался вилкой. Женщина

вставила вилку в розетку, села на стул, а ты сел на другой — и вы стали ждать, когда закипит. Я хорошо знаю тебя: по натуре своей ты порывист, тебе недостает усидчивости в школе и дома, ты пока слишком молод и оттого не приемлешь долгого молчания, затянувшихся пауз в разговоре, от них тебе делается неловко, не по себе, одним словом, ты не терпишь пассивности, бездействия, тишины. Сейчас, будь ты один в этой почтовой комнате, ты наполнил бы ее своим криком так же, как ты наполняешь на досуге пустые школьные аудитории, туалетные помещения, коридоры. Но ты не один здесь, и хотя тебя распирает вызревающий в глубинах твоего естества неописуемый вопль, и он готов вырваться наружу в любое мгновение, и тогда ты лопнешь и раскроешься подобно ранней апрельской почке и весь обратишься в свой собственный крик: я Нимфея Нимфея Нимфея ея-ея-ея я-я-я а-а-а-, — ты не можешь, ты не имеешь права пугать эту молодую душевную женщину. Ибо если ты закричишь, она прогонит тебя прочь и не поставит штемпель на козодоя, ни в коем случае не кричи здесь, на почте, иначе у тебя не будет коллекции, о которой ты столь долго мечтал, коллекции, состоящей из одной погашеной марки. Или этикетки. Сдержи себя, отвлекись, подумай о чем-нибудь нездешнем, загадочном, или начни ни к чему не обязывающий разговор с женщиной, тем более, что, насколько я понимаю, она сразу понравилась тебе. Хорошо, но как же начать, какими словами, я вдруг забыл, как следует начинать разговоры, которые ни к чему не обязывают. Весьма просто, спроси ее, можешь ли ты задать ей один вопрос. Спасибо, спасибо, сейчас. Могу я задать вам один вопрос? Конечно, мальчик, конечно. Ну а теперь, что говорить дальше? Теперь спроси ее о почтовых голубях или о работе, узнай, как у нее вообще дела. Да, вот именно: я хотел узнать у вас, как идут дела у вас на почве, то есть нет, на почте, на почтамте почтимте почтите почуле почти что. Что-что, на почте? Хорошо мальчик, хорошо, а почему это интересует тебя? Вы, верно, держите почтовых голубей, не так ли? Нет, а зачем? Но ведь почтовые голуби, где же им еще жить, если не у вас на почуле? Нет, мы не держим, у нас есть почтальоны. В таком случае вы знаете почтальона Михеева или Медведева, похож на Павлова и тоже катается на велосипеде, но не

надейтесь увидеть его за окном, он катается не здесь, не в городе, он служит за городом, в дачном поселке, у него борода – так вы не представлены ему? Нет, мальчик. Жаль, а то мы с удовольствием побеседовали бы о нем и вам не было бы скучно со мной. А мне и не скучно, – отвечает женщина. Вот славно, значит и я немного понравлся вам, у меня к вам дело, если не ошибаюсь: мне пришло в голову завязать с вами знакомство, и даже больше того, меня зовут так-то, а вас? Смешной какой, – говорит женщина, – вот смешной-то. Не смейтесь, я поведаю вам всю правду – как есть, видите ли, судьба моя решена: я женюсь, очень скоро, возможно вчера или в прошлом году. Но женщина, которая должна стать моею женой – она чрезвычайно нравственна, вы понимаете, что я имею в виду? и она ни за что не согласится до свадьбы. А мне очень нужно, необходимо, в противном случае я изойду своим нечеловеческим криком, как кровью. Доктор Заузе называет такое состояние припадком на всенервной почве, поэтому я решился попросить вас помочь мне, оказать мне одну услугу, любезность, это было бы весьма любезно с вашей стороны, вы ведь – женщина, вам, я полагаю, тоже хочется кричать на вашей нервной почте, так отчего бы нам не утолить наши почули, неужели я ничуть не приглянулся вам, я же так старался понравиться! Вы не представляете, как я буду скучать без вас, когда мы отклеим этикетку и вы поставите штемпель и я уйду обратно, в дом отца моего: я не отыщу утешения ни в чем и нигде. А может, у вас уже есть некто, с кем вы утоляете почули? Боже мой, да какое тебе дело, – говорит женщина, – дерзкий, прямо ужас. В таком случае я готов немедленно доказать, что я лучше него во всех отношениях, впрочем вы уже осознали это. Разве не ясно, что ум мой – сама гибкость и логика есть, разве не факт, что если существует на всем свете хоть один будущий инженерный гений – так это именно я. И это я, я расскажу вам немедленно какую-нибудь историю, да, что-нибудь такое, после чего вы не устоите. Вот. Давайте я расскажу своими словами сочинение, которое сдал нашей Водокачке на прошлой неделе. Я начну с самого начала. М о е у т р о. С о ч и н е н и е.

Дудочка маневрового паровоза "кукушка" поет на рас-

свете: пастушеский рожок, флейта, корнет-а-пистон, детский плач, дудели-дей. Я просыпаюсь, сажусь на кровати, рассматриваю свои голые ноги, а потом гляжу за окно. Я вижу мост, он совершенно пуст, он освещен зелеными ртутными фонарями, а у столбов – лебединые шеи. Я вижу только проезжую часть моста, но стоит выйти на балкон, и мне откроется весь мост целиком, вся его эстакада – спина испуганной кошки. Я живу вместе с мамой и папой, но иногда получается, что я живу один, а соседка моя – старая Трахтенберг, а скорее всего – Тинберген жила с нами на старой квартире, или будет жить на новой. Как называются остальные части моста – я не знаю. Под мостом – линия железной дороги, а лучше сказать – несколько линий, несколько путей сообщения, некоторое число одинаковых, одинаковой ширины путей. По утрам ведьма Тинберген пляшет – плясала, будет плясать – в прихожей, напевая песенку про Трифона Петровича, кота и экскаваторщика. Она пляшет на контейнерах красного дерева, на их верхних площадках, под потолком, а также возле. Я ни разу не видел, но я слышал. Под потолком. По ним – туда и сюда – ходит "кукушка", вся сотрясаясь на стрелках. Тра-та-та. Ритм она отбивает на марокассах. Она толкает и тащит коричневые товарные вагоны. Я ненавижу эту косматую старуху. Закутавшись в тряпье, отрастив крючковатые длинные когти, избороздив лицо свое мучительными морщинами столетий, клавдикантка, она пугает меня и мою терпеливую мать днем и в ночи. А на рассвете – начинает петь – и вот я просыпаюсь. Я люблю эту дудочку. Дудели-дей? – спрашивает она. И, подождав минуту, сама себе отвечает: да-да-да, дудели-дей. Это она отравила Якова, бедного человека, человека и аптекаря, человека и провизора, и это она служит у нас в школе заведующей учебной части, частью учебы. Таким образом, делая выводы о моем утре, можно сказать, что оно начинается криком кукушки, звуком железной дороги, кольцевой железной дороги. Если смотреть на карту нашего города, где обозначены и река, и улицы, и шоссе, представляется, будто кольцевая дорога сжимает город, как стальная петля, и если, испросив позволения констриктора, сесть на проходящий мимо нашего дома состав, то он, этот товарный поезд, сделает полный

круг и через день возвратится в то же место, в то место, где ты оседлал его. Поезда, которые минуют наш дом, движутся по замкнутой, а следовательно — бесконечной кривой вокруг нашего города, вот почему из нашего города выехать почти невозможно. Всего на кольцевой дороге работает два поезда: один идет по часовой стрелке, другой — против. В связи с этим они как бы взаимоуничтожаются, а вместе — уничтожают движение и время. Так проходит мое утро. Тинберген постепенно перестает вытаптывать молодые бамбуковые рощи, и песня ее, цветущая, самодовольная и беспощадная как сама старость, затихает вдали, за коралловыми лагунами, и только бубны, тамбурины и барабаны мчащихся через мост авто нарушают — да и то изредка — тишину нашей квартиры. Пропадет — растает.

Прекрасно, прекрасно, прекрасное сочинение, — говорит Савл. Мы слышим его глухой, подернутый дымкой педагогический голос, голос ведущего географа района, голос дальновидного руководителя, поборника чистоты, правды и заполненных пространств, голос заступника всех униженных и окровленных. Мы по-прежнему здесь, в немытой мужской уборной, где нередко так холодно и одиноко, что из наших голубых ученических губ струится пар — признак дыхания, призрак жизни, добрый знак того, что мы еще существуем, или ушли в вечность, но, как и Савл, возвратимся, дабы совершить или завершить начатые на земле великие дела, а именно: получение всех и всяческих академических премий, аутодафе в масштабе всех специальных школ, приобретение подержанного автомобиля, женитьба на учителке Ветке, избиене всех идиотов мира древками сачков, улучшение избирательной памяти, разможжение черепов меловым старикам и старухам вроде Тинберeген, отлов уникальных зимних бабочек, разрезание суровых ниток на всех заштопанных ртах, организация газет нового типа — газет, где не было бы написано ни единого слова, отмена укрепляющих кроссов, а также бесплатная раздача велосипедов и дач во всех пунктах от А до Я; кроме того — воскрешение из мертвых всех тех, чьими устами глаголила истина, в том числе п о л н о е воскрешение наставника Савла вплоть до восстанов-

ления его на работе по специальности. Прекрасное сочинение, – говорит он, сидящий на подоконнике, греющий ступни ног своих на радиаторе парового отопления, – как поздно мы узнаем учеников наших, как жаль, что раньше я не разглядел в вас литературный талант, я бы уговорил Перилло освободить вас от уроков словесности, и вы могли бы в образовавшийся досуг занять себя чем угодно, – вы поняли меня? – чем угодно. Так, вы могли бы без устали собирать марки с изображением козодоя и других летающих птиц. Вы могли бы грести и плавать, бегать и прыгать, играть в ножички и разрывные цепи, закаляться как сталь, писать стихи, рисовать на асфальте, играть в фанты, проборматывая прелестное и ни с чем не сравнимое: черный с белым не берите, да и нет – не говорите, и тут же: вы приедете на бал? Или, сидя в лесу на поваленном бурей дереве, торопливо и вполголоса, не имея ввиду никого и ничего, рассказывать самому себе неувядающие считалки: эники-беники ели вареники, или: вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана. Но прекраснее: жили-были три японца – Як, Як-Цидрак, Як-Цидрак-Цидрони, жили-были три японки – Цыпа, Цыпа-Дрипа, Цыпа-Дрипа-Лимпомпони; все они переженились: Як на Цыпе, Як-Цидрак на Цыпе-Дрипе, Як-Цидрак-Цидрони на Цыпе-Дрипе-Лимпомпони. О, как много на земле дел, мой юный товарищ, дел, которыми можно бы занять себя вместо дурацкой-дурацкой писанины в часы нашей словесности! С сожалением о невозможном и утраченном. С грустью. С лицом человека, которого никогда не было, нет и не будет. Но, ученик такой-то, боюсь, вам не избежать этих уроков, и вам придется с мучительной болью заучивать наизусть отрывки и обрывки произведений, называемых у нас литературой. Вы с отвращением будете читать наших замызганных и лживых уродцев пера, и то и дело вам будет невмоготу, но зато, пройдя через горнило этого несчастья, вы возмужаете, вы взойдете над собственным пеплом, как Феникс-птица, вы поймете – вы все поймете. Но, дорогой учитель, – возражаем мы, – разве сочинение, пересказанное своими словами той женщине на почуле, не убедило вас, что мы и так давно поняли, и что нам вовсе не обязательно проходить какие бы то ни было литературные горнила? Безусловно, – отвечает наставник, – я осознал это с

первых же фраз, вам действительно не нужно горнил. Я говорил о необходимости их – для вас, очевидно, ложной, – лишь бы как-то утешить вас в ваших мыслях о невозможности освобождения от уроков по упомянутому предмету. Поверите ли, еще недавно я мог бы без труда уговорить Перилло предоставить вам свободное посещение вообще всех занятий, вам, вероятно, известно, каким авторитетом пользовался ваш покорный слуга в преподавательских кругах – в школе и в отделе народного о б о р з о в а н и я. Но с тех пор, как со мной что-то случилось – что именно, я еще не вполне осознал, я лишился всего: цветов, пищи, табака – вы заметили, я перестал курить? – женщин, проездного билета (констриктор уверяет меня, что документ давно просрочен, но купить новый я не имею возможности, поскольку меня лишили и зарплаты), развлечений, а главное – авторитета. Я просто не представляю, как это можно: меня никто не слушает – ни учителя на педсоветах, ни родители на собраниях, ни ученики на уроке. Меня даже не цитируют, как бывало прежде. Все происходит так, словно меня, Норвегова, больше нет, словно я умер. И тут Савл Петрович наполнил уборную негромким мерцающим смехом. Да, я смеюсь, – сказал он, – но сквозь слезы. Дорогой ученик и дружище Нимфея, со мной определенно что-то случилось. Раньше, еще недавно, я знал, что именно, а теперь вот, кажется, запамятовал. У меня, пользуясь вашим выражением, память стала избирательной, и я особенно рад нашей встрече здесь, в пункте М, поскольку надеюсь на вашу помощь. Помогите мне, помогите мне вспомнить, что произошло. Я просил об этом многих, но никто не мог – или не желал? – что-либо объяснить мне. Кто-то просто не знал истины, кто-то знал, но скрывал: изворачивались и врали, а кто-то просто смеялся в лицо. Вы же, насколько я знаю вас, никогда ни в чем не солжете, вы не умеете лгать.

Он замолчал, голос его не заполнял больше пустоты пространства, и стали слышнее звуки вечернего города: некто большой, многоногий и бесконечно длинный, как доисторическая ящерица, позже обратившаяся в змею, шел мимо школы по улице, поскользаясь на голом льду, насвистывая

серенаду Шуберта, покашливая и чертыхаясь, задавая себе вопросы и сам же отвечая на них, чиркая спичками, теряя пилотки, платки, перчатки, сжимая рукой в кармане только что купленный силомер, время от времени посматривая на часы, пробегая глазами страницы вечерних газет, делая выводы, посматривая на шагомер, теряя и находя ориентацию, анализируя нумерацию домов, читая вывески и рекламы, мечтая о приобретении новых земельных участков и о все больших прибылях, вспоминая дела минувших дней, распространяя вокруг запах одеколона и крокодиловых портмоне, наигрывая на гармонике, глупо и мерзко ухмыляясь, завидуя славе дачного почтальона Михеева, желая неиспытанного обладания и ничего не зная о нас, наставнике и учениках, беседующих здесь, в печальных пределах М. Этот некто, многоногий, будто доисторическая ящерица и бесконечный, как средневековая пытка, шел и шел, не ведая усталости и покоя, и все не мог пройти, потому что не мог пройти никогда. На фоне его движения, на фоне этого беспрестанного шума шагания, мы слышали трамвайные звонки, скрип тормозов, шипение, создаваемое скольжением троллейбусных контактных антенн по электрическим проводам. Затем доносились глухие удары, вызываемые быстрым соприкосновением массы дерева с оцинкованной массой деловой жести: вероятно один из спецшкольников, не желающий возвращаться в дом отца своего, методически бил палкой по водосточным трубам, пытаясь в знак протеста против всего — сыграть ноктюрн на их флейте. Звуки же, рождавшиеся внутри здания, были следующие. В подвале работал глухонемой истопник-имярек — его лопата скрежетала об уголь, дверцы топок скрипели. В коридоре нянечка мыла пол: щетка с накрученной на нее мокрой тряпкой мерно окуналась в ведро, чавкала, шлепалась на пол и бесшумно увлажняла новый участок суши — купание красного коня, вальс простуженного человека, скирлы в наполненной ванне. По другому коридору, этажом выше, шла заведующая учебной частью Шейна Соломоновна Трахтенберг, протез ее постукивал и скрипел. На третьем было пусто и тихо, а на четвертом, в так называемом зале для актов, безумствовала репетиция сборного танцевального ансамбля специальных школ города: пятьдесят

идиотов готовились к новым концертам. Теперь они репетировали плясовую балладу "Бояре, а мы к вам пришли": пели и кричали, топали и свистели, ржали и хрюкали. Бояре, она дурочка у нас, молодые, она дурочка у нас, – пели одни. Бояре, а мы выучим ее, молодые, а мы выучим ее, – обещали другие. Безучастно хлопали литавры, медленно извиваясь, ползли гобои, гудел большой барабан с нарисованной на боку козлиной мордой, в припадке истерии конвульсировал рябой жесткокрылый рояль – сбиваясь, фальшивя и глотая собственные клавиши. Потом там, на четвертом, наступила зловещая пауза и через секунду, если мы правильно понимаем это слово, все они, плясуны и певцы, хором затянули, завыли Гимн просветленного человечества, при первых же аккордах которого всякий имеющий уши обязан отложить все дела, встать и трепетно внимать ему. Мы едва узнали песню. Она достигла пункта М, пройдя через все преграды, но лестничные перила, ступени и пролеты, острые углы на поворотах изломали, изуродовали негибкие ее члены, и она предстала перед нами окровавленная, заснеженная, в изорванном и грязном платье девушки, с которой насильно сделали все, что хотели. Но среди голосов, исполнявших кантату, среди голосов, ничего не значивших и ничего не стоивших, среди голосов, свивавшихся в бестолковый, бессмысленный, безголосый шумный клубок шума, среди голосов обреченных на безвестность, среди голосов немыслимо заурядных и фальшивых, был голос, явившийся нам воплощением чистоты, силы и смертельной торжественной горечи. Мы услышали его во всей неискаженной ясности его: был подобен парению раненой птицы, был снежного сверкающего цвета, пел голос бел, бел голос был, плыл голос, голос плыл и таял, был голос тал. Он пробивался сквозь все, все презирая, он возрастал и падал, дабы возрасти. Был голос гол, упрям и наполнен пульсирующей громкой кровью поющей девушки. И не было иных голосов там, в зале для актов, там был только ее голос. И, – вы слышите? – Савл Петрович шопотом сказал, шепотом очарованного и восхищенного, – вы слышите, или мне чудится? Да-да-да, Савл Петрович, мы слышим, то поет Роза Ветрова, милая девушка, могильный цвет, лучшее среди дефективных всех школ контральто. И отныне, если вы на

вопрос: что вы тут делаете, тут в туалете? – ответите нам: я отдыхаю после занятий, или: я грею ступни ног моих, – то мы не поверим вам, славному, но лукавому педагогу. Потому что теперь мы все поняли. Вы, как обыкновенный влюбленный школьник, ждете, когда закончится репетиция, и среди прочих ущербных и мертворожденных из зала для актов спустится она – та, кому вы назначили свидание на черной лестнице в правом крыле, где не осталось ни единой целой лампочки – и темно, темно, и пахнет пылью, где на площадке между вторым и третьим свалены в груду списанные физкультурные маты. Они рваные, из них сыплется опилочная труха, и там, именно там, вот это: приди, приди, как хочу я нетронутого тела твоего. Шопотом восхищенного. Только осторожней, будьте осторожней, вас могут услышать – чеченец бродит за горой. А точнее: остерегайтесь вдовы Тинберген. Неусыпно и неустанно бродит она по ночам по этажам наглухо замурованной, мудро молчащей школы для дураков. Начиная с полночи, в доме услышишь только шаги Тинберген – и-и-и, раз-два-три, раз-два-три. Напевая, бормоча ведьмаческие прибаутки, вальсируя или отбивая чечетку, движется она по коридорам, и классам и лестницам, зависая в пролетах, обращаясь в жужжащую навозную муху, разворачиваясь в марше, пощелкивая кастаньетами. Только она, Тинберген, и только часы с маятником золоченым в кабинете Перилло: раз-два-три – ночью вся школа – ночной одинокий маятник, режущий темноту на равные, тихотемные куски, на пятьсот, на пять тысяч, на пятьдесят, по числу учащихся и учителей: тебе, мне, тебе, мне. Утром, на заре – получите. Морозным, пахнущим мокрой тряпкой и мелом, утром, сдавая в мешочках боты свои и надевая тапочки свои – вместе с номерком – получите. Итак, будьте осторожнее там, на матах.

Итак, говорит нам учитель Савл, я слушаю вас внимательно, правду и только правду. Вы обязаны открыть мне глаза на истину, дабы прозрел я, подымите мне веки. Крупный, как у римского легионера, нос, плотно, смертельно сжатые губы. Все лицо – грубосколоченное, а может быть, грубовысеченное из белого с розовыми прожилками мрамора, лицо

с беспощадными морщинами – следствие трезвой оценки земли и человека на ней. Тяжелый взгляд римского легионера, марширующего в первых шеренгах несгибаемого легиона. Доспехи, белый, отороченный мехом италийского пурпурного волка – плащ. Шлем окроплен вечерней росой, медные и золотые застежки там и здесь – затуманены, но вспышки близких и далеких костров, пылающих по сторонам Аппиевой дороги, все же заставляют сверкать и латы, и шлем, и застежки. Все происходящее вокруг – призрачно, грандиозно и страшно, поскольку не имеет будущего. Дорогой Савл Петрович, следуя вашим незабвенным заветам – они стучат в наши сердца пеплом Клааса – мы действительно обрели одно из высших человеческих достояний, мы научились никогда и ни в чем не лгать. Мы замечаем это без ложной скромности, ибо здесь, в разговоре с вами, учителем, ставшим нашей совестью и нашей счастливой юностью, – она неуместна. Но, наставник, какими бы высшими принципами в общении с людьми мы ни руководили себя, они, принципы, ни за что не заменят нам нашей отвратительной памяти: она по-прежнему избирательна, и вряд ли мы сумеем пролить свет и поднять вам ваши тяжелые веки. Мы тоже почти не помним, что с вами случилось, ведь прошло – или пройдет – уже много времени с тех пор, как. Верно, отвечает Савл, немало прошло, верно, немало, немаловерно, вернее, много. Но все-таки постарайтесь, напрягите ее, вашу изумительную, пусть и отвратительную память. Помогите учителю, который страждет в неведении своем! Капля росы выпала из умывального крана и упала в ржавую тысячелетнюю раковину, чтобы, пройдя по темным слизистым трубам канализаций, миновав отстойники и фильтры новейших премиальных констрикций, тихо скользнуть чьей-то незамутненной душой в горечь реки Леты, чьи воды, навсегда обращенные вспять, вынесут лодку твою и тебя, обращенного в белый цветок, на песчаную белую отмель; капля повиснет на миг на мандолинообразной лопасти твоего весла и снова торжественно капнет в Лету – пропадет – растает – и через секунду, если ты верно понимаешь значение слова, бессмертно блеснет в горловине только что выстроенного римского акведука. Листопад, такого-то числа, такого-то года до н. э. Генуя, Дворец Дожей. Пиктограмма на бересте, свернутой

в трубочку. Возлюбленный сенатор и легионер Савл, спешим сообщить вам, что мы, благодарные ученики ваши, вспомнили, наконец, некоторые подробности события, происшедшего с вами рано или поздно, которое столь обеспокоило вас. Нам удалось напрячь нашу память и теперь, как нам кажется, мы догадываемся, что именно случилось, и готовы поднять вам ваши набрякшие веки. Спешим сообщить вам, что директор Н. Г. Перилло, подстрекаемый на злое дело Ш. С. Трахтенберг-Тинберген, уволил вас с работы по собственному желанию. Не может быть, – возражает Норвегов, – я же ничего такого не сделал, почему? за что? на каком основании? Я ничего не помню, расскажите. Взволнованно.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ЗАВЕЩАНИЕ

Дело было в один из дней того очаровательного месяца, когда ранними вечерами в западной части неба в созвездии Тельца виден Сатурн, вскоре заходящий за горизонт, а во второй половине ночи в созвездии Козерога заметен яркий Юпитер, к утру же значительно левее и ниже в созвездии Водолея появляется Марс. Но главное — в этом месяце головокружительно цветет черемуха в нашем сиреневом школьном саду: это мы, дураки нескольких поколений, заложили его на зависть всем умникам, идущим мимо по улице. Уважаемый Савл Петрович, разрешите заметить здесь, что мы, узники специальной школы, рабы тапочной системы имени Перилло, лишенные права обычного человеческого голоса и оттого вынужденные кричать нечленораздельным утробным криком, мы, жалкие мошки, запутавшиеся в неукоснительных паучьих сетках учебных часов, мы все же по-своему, по-глупому любим ее, нашу ненавистную спецалку, со всеми ее садами, учителями и гардеробами. И если бы нам предложили перейти в нормальную, в обычную школу для нормальных, сообщив при этом, что мы выздоровели и нормальны, то — нет, нет, не хотим, не гоните! — мы бы заплакали, утираясь поганым тапочным мешком. Да, мы любим ее, потому что привыкли к ней, и если мы когда-нибудь, отсидев в каждом классе по нескольку так называемых лет, если мы когда-нибудь закончим ее, с ее изрезанными черно-коричневыми партами, то мы страшно расстроимся. Ибо тогда, покинув ее, мы потеряем все — все, что у нас было. Мы останемся одни, станем одинокими, жизнь разбросает нас по углам своим, по толпам умников, рвущихся к власти, к женщинам, машинам, инженерным дипломам, а нам — круглым дуракам — нам ничего такого не нужно,

мы хотим лишь одного: сидеть на уроке, смотреть за окно на изглоданные ветром облака, не обращая внимание на учителя, за исключением Норвегова, и ждать белый-белый звонок, похожий на охапку черемухи в тот головокружительный месяц, когда вы, Савл Петрович, географ высшего уровня, быстро – если не сказать стремглав – входите к нам в класс на свой последний в жизни урок. Босиком. Теплынь. Теплый ветер. Когда дверь распахивается – окна, рамы окон – настежь. Сквозит теплом. Горшки с геранями валяются на полу, разбитые вдребезги. В комочках чернозема копошатся блистающие дождевые черви. Савл Петрович, а вы – смеетесь. Смеетесь, стоя на пороге. Вы подмигиваете нам, узнавая всех и каждого. Здравствуйте, Савл Петрович, в теплый четверг мая, в ковбойке с подвернутыми рукавами, в брюках с широкими отворотами, в летней, со множеством пробитых компостером дырочек, шляпе. Здравствуйте, черти, садитесь, ну их, эти нелепые церемонии, потому что весна. Кстати, вы замечали, как крепнет весь человек, охваченный свежим дыханием весны, а? Ладно, я как-нибудь расскажу вам. А сейчас мы приступим к уроку. Други ситные, сегодня у нас по плану беседа о горных системах, о каких-то там Кордильерах и Гималаях. Но кому это все нужно, кому это нужно, я вас спрашиваю, когда по всей желанной земле идут скоростные машины, разбрызгивая колесами тугую воду луж и обдавая таким макаром всех наших милых уличных подружек в коротеньких юбочках. Бедняжки! Капли залетают к ним даже в самые потаенные места, куда выше колен – вы понимаете, что я хочу сказать? Весело, подтягивая парусиновые брюки и пританцовывая у карты обоих полушарий, напоминающей гигантские голубые очки без дужек. Ученик такой-то, сделайте доброе дело, дайте перечисление некоторых женских имен, как я учил вас, по алфавиту. Кто-то из нашего числа – теперь издали я не вижу, кто именно – встает и говорит быстрым полушепотом: Агния, Агриппина, Валентина, Валерия, Барбара, Галина... Да, – повторяете вы с улыбкой расстроганного человека, – Леокадия, Христина, Юлия, спасибо, садитесь. Други верные, как я рад свидетельствовать вам свое почтение сегодня, в день весны. Весна – это вам не зима, когда мой двор уединенный, печальным снегом

занесенный, твой колокольчик огласил. Вот случай! В Острове, проездом ночью, взял три бутылки клико, и к утру следующего дня приближался к желаемой цели. Все было мрак и вихорь. Нет, мы посвятим сегодняшние порывы наши – наоборот – пустыне, обагренной тюльпаньей кровью. Ученик такой-то, я наблюдаю ужасное: из трех окон, выходящих в открытое небо, открыты лишь два, так откройте ж и третье! спасибо. Ныне я поведаю вам историю, найденную мною в бутылке из-под клико на берегу дачной реки Леты. Я назвал эту историю П л о т н и к в п у с т н ы н е.

Други ситные, в пустыне жил плотник, большой мастер своего дела. Он мог бы при случае построить дом, лодку, карусели, качели, сколотить посылочный или иной ящик – был бы только материал, было бы из чего делать. Но в пустыне, по выражению самого плотника, было пусто: ни гвоздей, ни досок. У в а ж а е м ы й л е г и о н е р С а в л, м ы о б я з а н ы н е м е д л е н н о п о с т а в и т ь в а с п е р е д с л е д у ю щ и м ф а к т о м: н е у с п е л и в ы п р о и з н е с т и с л о в а ни гвоздей ни досок, к а к в у н и в е р с и т е т с к о й и м е н и с в. Л а в р е н т и я о р д е н а Р у д о в о з а М а р с о в а П л а м е н и у н и в е р с и т е т а, г д е в ы ч и т а е т е о ч е р е д н у ю л е к ц и ю, н а м и г с т а л о к а к б у д т о с у м р а ч н о, н а м п о к а з а л о с ь, ч т о ч ь я-т о т е н ь – п т и ц а и л и п т и р о д а к т и л ь и л и в е р т о п л а н – у п а л а н а к а ф е д р у, з а м е н и в с о л н ц е. Н о т у т ж е – у ш л а. Некоторые люди, – словно ничего не заметив, продолжали вы, – скажут: это неправда, не может случиться такого места, где не нашлось бы одной-двух досок и десятка гвоздей, а если хорошенько поискать вокруг, то всюду наберешь материала на целую дачу с верандой, как у любого из нас, лишь бы не пропадало желание сделать что-то полезное, только бы верилось в успех. Я же, разгневанный, отвечу: действительно: плотнику удалось найти одну, а потом и вторую доску. Кроме того, у него в кармане с давних пор лежал один гвоздь, мастер берег его на всякий случай, мало ли что может произойти в плотницкой жизни, мало ли зачем плотнику гвоздь, например, провести риску, наметить точки

сверления и прочее. Но я должен добавить: несмотря на то, что у плотника не пропадало желание сделать что-либо полезное, и он до конца верил в успех, мастер не мог найти больше, чем две десятимиллиметровые доски. Он исходил и изъездил на своей небольшой зебре всю пустыню, исследовал каждый сыпучий бархан и всякую ложбинку, поросшую бедным саксаулом, проехал даже вдоль берега моря, но – черт возьми! – пустыня не дарила ему материала. Н а с т а в н и к С а в л, н а м т р е в о ж н о, к а ж е т с я с н о в а б ы л а т е н ь – т о л ь к о ч т о, с е к у н д у т о м у. Однажды, утомленный поисками и солнцем, плотник сказал себе: ладно, у тебя не из чего построить дом, карусели, ящик, но у тебя есть две доски и один хороший гвоздь – так нужно что-нибудь сделать хотя бы из этого малого количества деталей, ведь мастер не может сидеть сложа руки. Сказав так, плотник положил одну доску поперек другой, достал из кармана гвоздь, а из сундука с инструментами взял молоток, и молотком забил гвоздь в место пересечения досок, таким образом накрепко соединив их: получился крест. Плотник отнес его на вершину самого высокого бархана, установил там вертикально, вкопав в песок, и отъехал оттуда на своей небольшой зебре, чтобы полюбоваться на крест издали. Крест был виден почти с любого расстояния, и плотник так обрадовался этому, что от радости превратился в птицу. О ч е н ь, о ч е н ь т р е в о ж н о, д о р о г о й С а в л, т е н ь с н о в а л е г л а н а в а ш у к а ф е д р у, л е г л а и п о г а с л а, л е г л а и п о г а с л а, р а с т а я л а, т е н ь п т и ц ы, т о й п т и ц ы и л и н е п т и ц ы. То была крупная черная птица с прямым белым клювом, издававшая отрывистые каркающие звуки. С а в л П е т р о в и ч, м о ж е т б ы т ь – к о з о д о й? К р и к к о з о д о я, к р и к к о з о д о я, о х р а н я й т е к о з о д о я в к р а ю е г о, в д о л ь к а м ы ш е й, у ж и в о й и з г о р о д и, о х о т н и к и и е г е р я, т р а в ы и п а с т у х и, б у д о ч н и к и и с т р е л о ч н и к и, т р а - т а - та, тра - та - та, и - и - и - и. Птица полетела, села на перечину креста и сидела, наблюдая движение песков. И пришли какие-то люди. Они спросили у птицы: как называется то, на чем ты сидишь? Плотник отвечал: это крест. Они сказали: с нами тут есть один человек, которого мы хотели бы каз-

нить, нельзя ли распять его на твоем кресте, мы немало заплатим. И показали птице несколько ржаных зерен. *Возлюбленный сенатор и легионер Савл, посмотрите, ради всех нас, посмотрите за окно, нам кажется, что там, на перекладине пожарной лестницы кто-то сидит, может быть козодой, может это он бросает тень на вашу кафедру?* И они показали птице несколько ржаных зерен. Да, сказал плотник, я согласен, я рад, что вам понравился мой крест. Люди ушли и спустя время вернулись, ведя за собой на веревке какого-то худого и бородатого человека, видом нищего. *О наставник, вы не слышите немой и тревожный глас нашего класса, увы! Еще раз: оглянитесь в тревоге! Там, за окном, на пожарной лестнице.* Поднялись на вершину бархана, сорвали с человека лохмотья и спросили черную птицу, есть ли у той гвозди и молоток. Плотник отвечал: у меня есть молоток, но нет ни единого гвоздя. Мы дадим тебе гвоздей, сказали они, и скоро принесли много — больших и блестящих. Теперь ты должен помочь нам, сказали люди, мы станем держать этого человека, а ты прибивай руки и ноги его ко кресту, вот тебе три гвоздя. *Внимание, капитан Савл, справа по борту — тень, велите дать залп изо всех орудий, ваша труба запотела, надвигается улялюм.* Плотник отвечал: я думаю, этому человеку придется худо, ему будет больно. Как бы там ни было, возражали люди, он достоин наказания, а ты обязан помочь нам, мы заплатили тебе, и заплатим еще. И показали птице горсть пшеничных зерен. *Увы, тебе, Савл!* Тогда плотник решил схитрить. Он говорит пришедшим: ужели вы не видите, что я обыкновенная черная птица, как же могу я забивать гвозди? Не притворяйся, говорили люди, нам достоверно известно, кто ты такой. Ты ведь — плотник, а плотник обязан забивать гвозди, это дело его жизни. Да, отвечал тогда плотник, я превратился в птицу не надолго и скоро опять стану плотником. Но я мастер, а не палач. Если вам нужно казнить человека, распинайте его сами, мне это не с руки. Глупый плотник, рассмеялись они,

мы знаем, что у тебя в твоей мерзкой пустыне, не осталось ни одной доски и ни единого гвоздя, поэтому ты не можешь работать и мучишься. Еще несколько времени – и ты умрешь от безделья. Если же согласишься помочь нам распять человека, мы привезем тебе на верблюдах много отборного строевого леса, и смастеришь себе дом с верандой, как у любого из нас, качели, лодку – все, что захочешь. Соглашайся, не пожалеешь. *Как пожалеете вы, наставник, что не внемлете нашему немому совету – посмотрите в окно, посмотрите!* Птица долго думала, потом слетела со креста и обратилась в плотника. Подайте гвозди и молоток, – согласился плотник, – я помогу вам. И быстро прибил руки и ноги обреченного к своему кресту, пока те, другие, держали несчастного. Назавтра они привезли плотнику обещанное, и он много и с удовольствием работал, не обращая внимание на больших черных птиц, которые прилетали на утренней голубой заре и весь день клевали распятого человека, и только вечером улетали. Однажды распятый человек позвал плотника. Плотник взошел на бархан и спросил, что нужно человеку. Тот сказал: я умираю, и вот хочу рассказать тебе о себе. Кто ты? – спросил плотник. Я жил в пустыне и был плотником, – с трудом говорил распятый, – у меня была небольшая зебра, но почти не было досок и гвоздей. Пришли люди и обещали дать мне нужного материала, если я помогу им распять одного плотника. Сначала я отказывался, но потом согласился, ибо они предложили мне целую горсть пшеничных зерен. Зачем же тебе зерна, – удивился плотник, стоявший на бархане, – разве ты тоже умеешь обращаться в птицу? *Зачем же не посмотрите вы за окно, наставник, зачем?* Почему ты сказал слово *тоже*, – отвечал распятый плотник, – о, неразумный, неужели ты до сих пор не понял, что меж нами нет никакой разницы, что ты и я – это один и тот же человек, разве ты не понял, что на кресте, который ты сотворил во имя своего высокого плотницкого мастерства, распяли тебя самого, и когда тебя распинали, ты сам забивал гвозди. Сказав так самому себе, плотник умер.

Наконец вы, наш добрый наставник, наконец, вы, услышав наши сигналы о бедствии, наконец, вы – оглядываетесь. Но поздно, учитель: тень, которая, начиная с некоей минуты – н и г в о з д е й н и д о с о к, – тревожила наши умы, более не сидит на перекладине пожарной лестницы и не лежит на кафедре – и это не тень, и не козодой, и не тень козодоя. Это – заведующая Тинберген, повисшая по ту сторону распахнутого в небо окна. В лохмотьях, купленных по сходной цене у вокзальной цыганки, в старушечьем вязаном чепчике, из под которого торчат коротко стриженные эриниевы змеи, отливающие платиновой сединой, она висит по ту сторону окна, будто подвешенная на веревке, но на деле – висит без помощи посторонних сил и предметов, просто на правах ведьмы, висит, как портрет о самой себе – во всю оконную раму, во весь проем, висит, потому что хочет висеть, зависая. И не заходя в класс, и даже не ступая на подоконник, она вопит вам, несравненный Савл Петрович, бестактно и непедагогично не желая замечать нас, застывших и меловых от волнения, вопит, показывая гнилые металлические зубы свои: крамола! крамола! И затем исчезает. Наставник Савл – неужели вы плачете, вы, с тряпочкой и кусочком мела в руке, вы, стоящий там, у доски, называемой по-английски б л э к б о р д? Нас подслушали, подслушали, теперь вас уволят по собственному, но, собственно, на каком основании? Мы напишем петицию! Боже мой, – это говорите уже вы, Норвегов, – неужели вы полагаете, что мне страшно потерять работу? Я проживу, я уж как-нибудь доживу, мне осталось немного. Но мне мучительно больно, друзья, расстаться с вами, девочками и мальчиками грандиозной эпохи инженерно-литературных потуг, с вами, будущими и минувшими, с Теми Кто Пришли и уйдут, унеся с собою великое право судить, не будучи судимыми. Дорогой наставник, если вы считаете, что мы, явившиеся судить, забудем когда-нибудь ваши затухающие в коридоре, а потом на лестнице шаги, то вы заблуждаетесь, – мы не забудем. Почти бесшумные, ваши босые ступни отпечатались в нашем мозгу и застыли там навсегда, будто бы вы впечатали их в расплавленный солнцем асфальт, пройдя по нему торжественным церемониальным маршем юлианского календаря. Мне горько вспоминать эту историю,

сударь, мне хотелось бы немного помолчать в вашем саду вместе с вами. Можно, я сяду вон в то плетеное кресло, чтобы напрасно не вытаптывать трав, подождите минуту, я скоро продолжу. Когда вернусь.

Выйдя на мост, обратишь внимание на перила: они холодные, скользкие. А звезды — летучие. А звезды. Трамваи — зябкие, желтые, неземные. Электрические поезда внизу будут просить дорогу у медленных товарняков. Сойди же по лестнице на платформу, купи билет до какой-нибудь станции, где пристанционный буфет, холодные деревянные лавки, снег. За столами в буфете — несколько пьяных, пьющих не переставая, читают друг другу стихи. Это будет холодная, коченеющая зима, и этот пристанционный буфет во второй половине декабрьского дня — тоже будет. Он будет разбит гармониками и стихами изнутри. Будут петь — дико и хрипло. П е й т е чай, м и л о с т и в ы й г о с у д а р ь, — о с т ы н е т. О погоде. Главным образом — о сумерках. Зимой в сумерках маленькому тебе. Вот они наступают. Жить невозможно, и невозможно отойти от окна. Уроки на завтра не сделаны ни по одному из предметов известных. Сказка. На дворе сумерки, снег цвета голубого пепла или какого-нибудь крыла, какого-нибудь голубя. Уроки не сделаны. Мечтательная пустота сердца, солнечного сплетения. Грусть всего человека. Ты маленький. Но знаешь, уже знаешь. Мама сказала: и это пройдет. Детство пройдет, как оранжевый дребезжащий трамвай через мост, разбрасывая холодные брызги огня, которых почти не существует. Галстук, часы, портфель. Как у отца. Но будет девочка, спящая на песке у реки — простая, с простыми ресницами, в чистых тугих трусиках для купания. Очень красивая. Почти красивая. Почти некрасивая, мечтающая о полевых цветах. В кофточке без рукавов. На горячем песке. Остынет, когда настанет. Когда вечер. Случайный пароход: от гудка простые ресницы дрогнут — очнется. Но еще не знаешь — та ли. Весь в огнях, оставляя уютную пену на попечение ночи. Но еще не ночь. Набег фиолетовых волн. У берега глубоко, ключи. Эту воду можно пить, наклонясь над. Губы милой, нежной. Гул парохода, плеск, дрожащие огни — уходят. На том берегу

кто-то, переговариваясь с приятелем, разжигает костер, чтобы варить чай. Смеются. Слышно, как чиркают спички. Кто ты, я не знаю. В вершинах сосен, в кронах, ночуют комары. Самая середина июля. Потом они спустятся к воде. Пахнет травой. Очень тепло. Это счастье, но ты не знаешь об этом. Пока не знаешь. Птица дергач. Ночь прильнула и потекла, заботливо вращая жернова мельницы небесной. Как называется эта река? Река называется. И ночь называется. Что приснится? Ничего не приснится. Дергач, козодой приснится. Но еще не знаешь. Почти некрасивая. Но несравненная, потому что первая. Мокрая соленая щека, невидимая в ночи тишина. Милая, как неразличима ты вдалеке. Да, узнаешь, узнаешь. Песня лет, мелодия жизни. Все остальное – не ты, все другие – чужие. Кто же ты сам? Не знаешь. Только узнаешь потом, нанизывая бусинки памяти. Состоя из них. Ты весь – память будешь. Самое дорогое, самое злое и вечное. Боль всю жизнь пытаясь выкрести из солнечного сплетения. Но сплетение ив, но девочка, спящая на песке горячем примерно пятнадцатого числа июля необратимого года, но девочка. Не шелохните листом, не шелестите. Спит. Утро. О д и н о к и з а б р о ш е н, к а к ц е р к о в ь с т о я л н а в е т р у. Т ы п р и ш л а и с к а з а л а, ч т о п т и ц ы ж и в у т з о л о т ы е. Утро. Гаснущие под ногой росы. Ракита. Звук несомого к реке ведра, беззвучие ведра, несомого от реки. Росы серебряной прах. День, обретающий лицо. День во плоти своей. Люди, любите день более ночи. Улыбнись, постарайся не шевелиться, это будет фотография. Единственная, которая останется после всего, что будет. Но пока не знаешь. Потом – сколько-то лет подряд – жизнь. Как называется. Называется ж и з н ь. Теплые тротуары. Или наоборот – заметенные снегом. Называется г о р о д. Ты вылетаешь из подъезда на высоких цокающих каблучках. Стройная, ранняя, в духах и в нимбе парижской шляпки. Цокот. Запевают дети и птицы. Около семи. Суббота. Я вижу тебя. Я тебя вижу. Цокот по всему двору, по всему бульвару, где нераспустившаяся сирень. Но распустится. Мама сказала. Больше ничего. Только это. Хотя и другое. Но теперь – знаешь. Можно писать письма. Или просто кричать, с ума сходя от мечты. Но и это пройдет. Нет, мама, нет, это останется. На каблучках. Та ли? Та. Та ли? Та.

Та ли? Та. Тра-та-та: навылет. Весь город в этих духах. И поздно говорить, сгорая. Но можно писать письма. Всякий раз ставя в конце — п р о щ а й. Радость моя, если умру от невзгод, сумасшествия и печали, если до срока, определенного мне судьбой, не нагляжусь на тебя, если не нарадуюсь ветхим мельницам, живущим на изумрудных полынных холмах, если не напьюсь прозрачной воды из вечных рук твоих, если не успею пройти до конца, если не расскажу всего, что хотел рассказать о тебе, о себе, если однажды умру не простясь — прости. Больше всего я хотел бы сказать — сказать перед очень долгой разлукой — о том, что ты, конечно, знаешь давно сама, или только догадываешься об этом. Мы все об этом догадываемся. Я хочу сказать, что когда-то мы уже были знакомы на этой земле, ты, наверное, помнишь. Ибо река называется. И вот мы снова пришли, вернулись, чтобы опять встретиться. Мы — Те Кто Пришли. Теперь знаешь.Ее зовут Вета. Та.

Юноша, что с вами? Вы спите? А? Нет, разве возможно, я немного ушел в себя, но теперь уже вернулся, не беспокойтесь, доктор Заузе называет это растворением в окружающем, это нередко. Человек растворяется, как будто его положили в ванную с серной кислотой. Один мой товарищ — учимся с ним в одном классе — говорит, что достал где-то целую бочку кислоты, но может быть лжет, не знаю. Во всяком случае, он собирается растворить в ней родителей. Нет, не всех вообще, только своих. Мне кажется, он не любит родителей. Что ж, сударь, я полагаю, они пожинают плоды, которые посеяли сами, и не нам с вами решать, кто тут прав. Да, юноша, да, не нам с вами. Покачивая головой, цокая языком, застегивая и тут же расстегивая пуговицы на пыльнике. Сутуло и деревянно и сухо. Но вернемся к баранам, сударь. В один из дней все того же замечательного месяца по спецшколе прошел слух, что вы, Савл Петрович, уволены с работы по щучьему велению. Тогда мы сели и написали петицию. Она была лаконична и строга стилем; в ней говорилось: Директору школы Н. Г. Перилло. Петиция. В связи с тем, что педагог-географ П. П. Норвегов

уволен по собственному, а на самом деле – нет, то мы требуем немедленной выдачи виновных по этапу. И подписи: с уважением, ученик такой-то и ученик такой-то. Мы явились вдвоем, стуча и стучась, хлопая всеми на свете дверьми. Мы явились разгневанно, а Перилло сидел в кресле развалясь и угрюмо, несмотря на то, что длилось утро средних лет, еще не усталое, бодрое, полное надежд и п л а н к т о н о в на будущее. В кабинете Перилло часы с маятником золоченым мерно дробили несуществующее время. Ну что, написали? – сказал нам директор. Ты и я – мы принялись искать в карманах петицию, но долго ничего не могли найти, а потом ты – именно т ы, а не я – достал откуда-то из-за пазухи помятый листок и положил на стекло перед директором. Но то была не петиция – я сразу понял, не петиция, потому что петицию мы писали на другой бумаге, на красивой гербовой бумаге с водяными знаками и несколькими специальными печатями, на бумаге для петиций. А листок, который лежал теперь на стекле у Перилло – в стекле отражались: сейф, зарешеченное окно, беспорядочная листва деревьев за окном, идущая по делам улица, небо – был обычный тетрадный в косую линейку, и то, что ты написал на листке – ведь это написал именно ты – было не петицией, а той самой объяснительной запиской о потерянном доверии, про которую я сто лет как успел забыть, я никогда не написал бы ее, если бы не ты. То есть я спешу подчеркнуть, что ее написал ты, а я не имел к ней никакого отношения. Увы нам, Савл, нас предал третий, все пропало: петиция исчезла, и восстановить текст нам не под силу, мы уже все забыли. Мы помним только, что в тот час лицо Николая Горимировича – после того как он начал читать объяснительую – стало каким-то иным. Оно, конечно, продолжало быть угрюмым, поскольку не могло не быть угрюмым, но стало еще каким-то. Был оттенок. Тень. Или так: по лицу директора словно прошел легкий ветер. Ветер ничего не унес, а только добавил новое. Какую-то специальную пыль. Вероятно мы не ошибаемся, сказав: лицо Перилло стало угрюмым и специальным. Правильно, это было теперь специальное лицо. Но что же читал Перилло, – интересуется Савл, – что вы там натворили, друзья мои? Я не знаю, спросите у него, это писал он, д р у г о й. Я сейчас расскажу.

Там было вот что. Как ваш покорный корреспондент уже сообщал итальянскому художнику Леонардо, я сидел в лодке, бросив весла. На одном из берегов кукушка считала мои годы. Я задал себе вопросы, несколько вопросов, и собрался уже отвечать, но не смог. Я удивился, а потом что-то случилось во мне – в сердце и в голове. Как будто меня переключили. И тут я почувствовал, что исчез, но сначала решил не верить. Не хотелось. И сказал себе: неправда, это кажется, ты немного устал, сегодня очень жарко. Бери гре́би и греби́ домой, в Сиракузы перечислять таврические корабли. И попытался взять весла, и протянул к ним руки. Но не вышло. Я видел рукоятки, но не ощущал их ладонями. Дерево гребей протекало через мои пальцы, как песок, как воздух, как несуществующее время. Или наоборот: я, мои бывшие ладони, обтекали дерево подобно воде. Лодку прибило к берегу в пустынном месте. Я прошел по пляжу некоторое количество шагов и оглянулся: на песке не осталось ничего похожего на мои следы, а в лодке лежала белая речная лилия, названная римлянами Нимфея Альба, то есть белая лилия. И тогда я понял, что превратился в нее и не принадлежу отныне ни себе, ни школе, ни вам лично, Николай Горимирович, – никому на свете. Я принадлежу отныне дачной реке Лете, стремящейся против собственного течения по собственному желанию. И – да здравствует Насылающий ветер! Что же касается двух мешочков для тапочек, то спросите у моей мамы, она все знает. Она скажет: и это пройдет. Она знает.

Мама, мама, помоги мне, я сижу здесь, в кабинете Перилло, а он звонит т у д а, доктору Заузе. Я не хочу, поверь мне. Приходи сюда, я обещаю выполнять все твои поручения, я даю слово вытирать ноги у входа и мыть посуду, не отдавай меня. Лучше я снова начну ездить к маэстро. С наслаждением. Ты понимаешь, в эти немногие секунды я многое передумал, я осознал, что, в сущности, необыкновенно люблю всю музыку, особенно аккордеон три четверти. И-и-и, раз-два-три, раз-два-три, и-раз, и-два, и-три. На Баркаролле. Давай же снова поедем к бабушке, побеседуем, а оттуда – сразу пойдем к маэстро, он живет совсем близко, ты пом-

нишь. И я даю тебе слово, что никогда больше не буду подсматривать за вами. Поверь, мне совершенно все равно, чем вы там с ним занимаетесь, там, в башенке, на втором этаже. Занимайтесь, а я – я буду разучивать чардаш. А когда вы спуститесь обратно по скирлучей лесенке, я вам сыграю. Сексты, или даже гаммы. И пожалуйста, не беспокойтесь. Какое мне дело! Мы все давно взрослые люди, все трое – ты, маэстро и я. Неужто я не понимаю. И разве я могу наябедничать? Никогда, мама, никогда. Вспомни, разве я хоть раз – папе? Нет. Занимайтесь, занимайтесь, а я буду играть чардаш. Представь себе, вот день, когда мы опять едем. Воскресенье, утро; папа бреется в ванной, я чищу ботинки, а ты готовишь нам завтрак. Яичница, оладьи, кофе с молоком. У папы прекрасное настроение, вчера у него было тяжелое заседание, он говорит, что дьявольски устал, но зато все получили по заслугам. Вот почему, бреясь, он напевает свою любимую неаполитанскую песенку: „В неапольском порту с пробоиной в борту Джанетта поправляла такелаж, но прежде чем уйти в далекие пути, на берег был отправлен экипаж". Ну что, едете заниматься? – спрашивает он за завтраком, хотя лучше нас знает, что да, едем, да, заниматься. Да, папа, да, музыкой. Как он поживает, этот ваш одноглазый, я давно не видел его, по-прежнему музицирует, сочиняет разную билеберду? Конечно, папа, а что же ему еще делать, он ведь инвалид, у него масса свободного времени. Знаем мы этих инвалидов, – усмехается папа, – этим бы инвалидам – баржи грузить, а не на скрипочках пиликать, будь моя воля, они бы у меня попиликали, моцарты фиговы. Между прочим, – замечаешь ты, мама, – он играет не на скрипке, его основной инструмент – труба. Тем более, – говорит папа, – будь моя воля, он бы потрубил у меня где положено. Лучше бы, – продолжает папа, подбирая кусочком хлеба остатки глазуньи, – лучше бы он носки себе чаще стирал. Причем тут носки, – отвечаешь ты, мама, – мы же беседуем о музыке; естественно, у каждого могут быть свои слабости, человек холост, одинок, все приходится самому. Вот-вот, – говорит папа, – ты ему еще носки постирай, если тебе его жалко, подумаешь – гений какой отыскался, носки не в состоянии постирать! Наконец выходим. Ну, езжайте, – напутствует папа, стоя на пороге, – езжайте. Он в своей единственной и

любимой пижаме, с пачкой газет подмышкой. Большое лицо его — оно почти без морщин — светится и блестит от недавнего бритья. Я почитаю, — говорит он. — Осторожнее с аккордеоном, не поцарапайте чехол. В электричке полно народу — все куда-то едут, куда-то на дачи. Сесть совершенно негде, но как только мы появляемся, все оглядываются на нас и говорят друг другу: дайте пройти мамаше с мальчиком, не мешайте им, посадите мамашу с мальчиком с аккордеоном, посадите, пусть сядут, у них аккордеон. Мы садимся и смотрим в окно. Если день, когда мы едем заниматься, приходится на зиму, то за окном мы видим лошадей, запряженных в сани, видим снег и разные следы на снегу. Если же дело происходит осенью, то за окном все по-другому: лошади запряжены в телеги или просто гуляют в ржавых лугах сами по себе. Мама, сейчас непременно войдет констриктор. Откуда ты знаешь, вовсе не обязательно. Вот увидишь. Проверка билетов, — говорит констриктор, входя. Мама открывает сумочку, она ищет билеты, но долго не может найти. Волнуясь, она выкладывает себе на колени все те небольшие вещи, которые есть в сумочке, и весь вагон наблюдает, как она это делает. Вагон рассматривает вещи: два или три носовых платка, флакончик с духами, губная помада, записная книжка, засушенный василек на память о чем-то давнем, футляр для очков, или, как его называет мама, — очешник, ключи от квартиры, подушечка для иголок, катушка ниток, спички, пудреница и ключ о т б а б у ш к и. Наконец мама находит билеты и протягивает подошедшему констриктору, толстому человеку в специальной черной шинели. Он вяло крутит билеты в руках, смотрит их на свет, вяло закрыв один глаз, и пробивает компостером, похожим на: щипцы для сахара, машинку для стрижки, силомер, маленькие клещи, клещи для удаления зубов, фонарик-"жучок". Заметив аккордеон, толстяк вяло подмигивает мне и спрашивает: Баркаролла? Да, — говорю я, — Барракуда, три четверти. Мы едем заниматься, — добавляет мама, волнуясь. Весь вагон слушает, привстав с желтых лакированных скамеек, стараясь не пропустить ни слова. Нас ждет преподаватель, — продолжает мама, — мы немного опаздываем, не успели на десятичасовую, но мы наверстаем от станции пойдем чуть быстрее обычного у сына очень талант-

ливый педагог он композитор правда он не совсем здоров знаете фронт но очень талантлив и живет совершенно один в старом доме с башенкой сами понимаете у него не слишком уютно бывает и беспорядок но какое это имеет значение если речь идет о судьбе сына видите ли учителя посоветовали нам дать сыну музыкальное образование хотя бы начальное у него неплохой слух и вот мы нашли педагога у нас есть один знакомый и он порекомендовал нам мы очень благодарны они вместе были на фронте наш знакомый и педагог и дружат уже много лет кстати если у вас есть сын и у него слух то если вы хотели бы я могла бы дать адрес честный человек и замечательный музыкант специалист в своем деле можно только преклоняться берет недорого если вам удобнее то можно договориться и он будет приезжать на дом ему нетрудно тем более так и для вас получится дешевле давайте я запишу ваш адрес. Не надо, — вяло говорит констриктор, — ну ее, всю эту музыку, одна Баркаролла чего стоит. Напрасно напрасно отвечает мама аккордеон ведь можно купить в комиссионном там отнюдь недорого разве можно думать о деньгах если речь идет о судьбе сына в конце концов можно занять давайте я поговорю с вашей женой мы женщины всегда лучше поймем друг друга мы с мужем могли бы занять вам денег пусть не всю сумму хотя бы часть вы бы постепенно вернули мы бы поверили вам разве можно. Не надо, — отвечает констриктор, — я бы с удовольствием у вас занял, но мне не хочется возиться со всей этой музыкой, тут один преподаватель каких денег стоит, да и, к тому же, у меня и сына-то нет никакого, ни сына, ни дочери нет, так что извините, спасибо. Вяло. Констриктор уходит, вагон садится по местам и предъявляет билеты. Когда мы покидаем поезд и спускаемся с платформы, я оглядываюсь: я вижу, как весь вагон смотрит нам вслед. Мы, идущие своей дорогой, отражаемся в глазах и стеклах набирающего скорость состава: моя среднего роста мама в демисезонном коричневом жакете с воротником из болезненной степной лисы, мама в чешуйчатой, твердой на вид, шляпке, сделанной неизвестно из чего, в ботах; и я — худой и высокий, в темном пыльнике на шести пуговицах, перешитом из прокурорской шинели отца, в ужасной

бордовой кепке, в ботинках с полузаклепками и с галошами. Мы отлетаем от станции все дальше, растворяясь в мире пригородных вещей, звуков и красок, с каждым движением все более проникаем в песок, в кору деревьев, становимся оптической ложью, вымыслом, детской забавой, игрой света и тени. Мы преломляемся в голосах птиц и людей, мы обретаем бессмертие несуществующего. Дом маэстро – на краю поселка, напоминает корабль, слохенный из кубиков и спичечных коробков. Ты видишь маэстро издалека: он стоит посреди застекленной веранды, перед пюпитром, упражняясь на небольшой флейте, которая в иные дни кажется подзорной трубой; к тому же, у него черная, как у пиратского капитана, наглазная повязка. Сад полон черных, изуродованных сквозняками деревьев, а по озеру, тронутые изысканностью мелодии, в холодном и жестком свечении воскресного неба, остекленело плывут лодки. Добрый день, маэстро, вот мы и пришли, мы снова здесь, чтобы заниматься. Мы так соскучились по музыке, по вас и по вашему саду. Двери веранды распахиваются, капитан неторопясь движется нам навстречу. Мама, какое у тебя лицо! Неужели это озерный ветер так изменил его. Сейчас, вот уже сейчас. Мама, я не поспеваю за тобой. Сейчас. Сейчас мы ступим на порог дома и канем в его странную архитектуру, впитаемся в коридоры, лестницы, этажи. Вот уже входим. Раз. Два. Три.

Извините, сударь, я, кажется, слишком отвлекся от сути нашего разговора. Я хочу сказать, что Савл Петрович попрежнему сидит на подоконнике спиной к окну. Босые ступни ног его покоятся на радиаторе, и учитель, улыбаясь, говорит нам: да, я хорошо помню, что Перилло хотел уволить меня по-щучьему. Но, подумав, он дал мне испытательный срок – две недели, и чтобы не вылететь с работы, я решил проявить себя в лучшем виде. Я решил стараться и стараться. Я решил не опаздывать в школу, решил купить и носить сандалии, я поклялся вести уроки строго по плану. Я отдал бы кому-нибудь половину дачного лета, лишь бы остаться с вами, друзья мои. Но вот тут-то и получилось то самое, о чем я вас все расспрашиваю. Не помню – понимаете?

Я не помню, что произошло в период моего испытательного срока, кажется, в самом его начале. Единственно, что я знаю – что это случилось накануне очередного экзамена. Ученик такой-то, сделайте доброе дело, помогите. Память моя с каждым днем становится все хуже, тускнеет, как столовое серебро, которое лежит в буфете без пользы. Так подышите на это серебро и протрите его фланелевой тряпочкой. Савл Петрович, отвечаем мы, стоящие на кафеле – или как там еще называются эти плитки, – Савл Петрович, мы знаем, мы теперь знаем, мы вспомнили, только не волнуйтесь. Да я и не волнуюсь, господи, только рассказывайте, пожалуйста, рассказывайте. Взволнованно. Савл Петрович, пожалуй, это будет крайне неприятная для вас новость. Ну-ну, – поторапливает нас учитель, – я весь – внимание. Понимаете, в чем дело, вы ведь раньше знали, что произошло, вы сами нам об этом тогда и сообщили. Ну да, ну да, я же говорю: память моя серебру подобна. Так слушайте. В тот день мы должны были сдавать последний экзамен за такой-то класс, как раз ваш экзамен, географию. Нам назначили к девяти утра, мы собрались в классе и ждали вас до двенадцати, но вы все не приезжали. Щелкая каблуками на поворотах, явился Перилло и сказал, что экзамен переносится на завтра. Кто-то из нашего числа предположил, что вы больны, и мы решили навестить вас. Мы отправились в учительскую и Тинберген дала нам ваш городской адрес. Мы поехали. Дверь открыла какая-то женщина, необыкновенно бледная, седая. Честно сказать, мы никогда не встречали настолько меловой женщины. Говорила она едва слышно, сквозь зубы, а одета была в непонятный пыльник цвета простыни, без пуговиц и без рукавов. Скорее, то был даже не пыльник, но мешок, сшитый из двух простыней, в котором вырезли только одно отверстие – для головы, – понимаете? Женщина сказала, что она ваша родственница, и спросила, что передать. Мы отвечали, что ничего не надо и поинтересовались, где найти вас, Савла Петровича, как, мол, вас увидеть. А женщина говорит: он здесь теперь не живет, а живет за городом, на даче, потому что весна. И предложила дать адрес, но мы вашу дачу, слава Богу, знаем, и решили немедленно ехать. Погодите, – перебивает Савл, – в то время я на самом деле переехал уже на дачу, но вы попали не в ту квартиру, поскольку в

моей квартире не могло быть никакой такой женщины, да еще родственницы, у меня нет родственников, даже мужчин, моя квартира всегда пустует с весны до осени, вы перепутали адрес. Возможно, Савл Петрович, – говорим мы, – но та женщина почему-то вас знала, она же хотела объяснить, как к вам на дачу попасть. Странно, – отвечает Савл задумчиво, – а какой номер квартиры – вы не забыли? Такой-то, Савл Петрович. Такой-то? – переспрашивает учитель. Да, такой-то. Мне тревожно, – говорит Савл, – я ничего не соображаю, мне тревожно. Откуда там могла быть женщина? А вы не заметили, там, около двери, на лестничной клетке – стояли санки? Стояли, Савл Петрович, детские санки, желтые, с лямкой из фитиля для керосиновой лампы. Верно, значит, верно, но, Боже мой, какая женщина? И почему седая, почему в пыльнике? Я не знаю таких женщин, мне тревожно, впрочем – продолжайте. Подавленно. И вот мы отправились к вам на дачу. Утро уже кончилось, но, несмотря на, вдоль всей железной дороги, в кустах за полосой отчуждения, вопреки поездам, продолжали согласно петь соловьи. Мы стояли в тамбуре, ели мороженое и слышали их – они были громче всего на свете. Мы полагаем, Савл Петрович, вы не забыли, как пройти от станции к вам на дачу, и не станем описывать дорогу. Нужно только заметить, что в придорожных канавах еще хранилась талая холодная вода и молодые листики подорожника торопливо пили ее, чтобы выжить и жить. Можно упомянуть и о том, что на садовых участках появились уже первые люди: жгли мусорные костры, копались в земле, стучали молотками, отмахивались от первых пчел. Все в нашем поселке было в тот день точно так же, как в соответсвующий день прошлого года и всех прошлых лет, и наша дача стояла, утопая в шестилепестковой счастливой сирени. Но там, в нашем саду, возились теперь какие-то другие дачники, не мы, поскольку к тому времени мы продали нашу дачу. А может быть еще не купили ее. Тут ничего нельзя утверждать с уверенностью, в данном случае все зависит от времени, или наоборот – ничего от времени не зависит, мы можем все перепутать, нам может показаться, что тот день был тогда-то, а по-настоящему он приходится на совершенно иной срок. Ужасно плохо, если одно накладывается на другое без всякой системы.

Справедливо, справедливо, сейчас мы даже не в состоянии утверждать с определенностью, была ли у нас, у нашей семьи, какая-нибудь дача, или она была и есть, или она только будет. Один ученый – это я читал в научном журнале – говорит: если вы находитесь в городе и думаете в данный момент, что у вас за городом есть дача, это не значит, будто она есть в действительности. И наоборот: лежа в гамаке на даче, вы не можете думать всерьез, что город, куда вы собираетесь после обеда, в действительности имеет место. И дача, и город, между которыми вы мечетесь все лето, – пишет ученый, – лишь плоды вашего в меру расстроенного воображения. Ученый пишет: если вы желаете знать правду, то вон она: у вас з д е с ь нет ничего – ни семьи, ни работы, ни времени, ни пространства, ни вас самих, вы все это придумали. Согласен, – слышим мы голос Савла, – я, сколько себя помню, никогда в этом не сомневался. И тут мы сказали: Савл Петрович, но что-то все-таки есть, это столь же очевидно, как то, что река называется. Но что же, что именно, учитель? И тут он ответил: други милые, вы, возможно, не поверите мне, вашему отставной козы барабанщику, цинику и охальнику, ветрогону и флюгеру, но поверьте мне иному – нищему поэту и гражданину, явившемуся просветить и заронить искру в умы и сердца, дабы воспламенились ненавистью и жаждой воли. Ныне кричу всею кровью своей, как кричат о грядущем отмщении: на свете нет ничего, на свете нет ничего, на свете нет ничего, кроме Ветра! А Насылающий? – спросили мы. И кроме Насылающего, – отвечал учитель. В утробах некрашенных батарей шумела вода, за окном шагала тысяченогая неизбывная, неистребимая улица, в подвалах котельной от одной топки к другой, мыча метался с лопатой в руках наш истопник и сторож, а на четвертом пушечно грохотала кадриль дураков, потрясая основы всего учреждения.

Итак, наша дача стояла, утопая в шестилепестковой сирени. Но там, в нашем саду, возились теперь другие, не мы, но, возможно, это были все-таки мы, но, торопясь мимо себя в сторону Савла, мы не узнали себя. Мы спустились до конца улицы, повернули налево, а потом – как это часто случается

— направо, и оказались на краю овсяной нивы, за которой, как вы знаете, струит свои воды дачная Лета и начинается Край козодоя. На дороге, режущей пополам овсяную ниву, мы повстречали почтальона Михеева, или Медведева. Он медленно ехал на велосипеде, и хотя ветра не было, бороду почтальона развевал ветер, и от нее — клочок за клочком — отлетали клочки, словно то была не борода, но туча, обреченная буре. Мы поздоровались. Но хмурый — или же печальный? — он не узнал нас и не ответил и покатил дальше, по направлению к водокачке. Мы посмотрели ему вслед и: вы не встречали Норвегова? Не оборачиваясь, являвший собою идеал почтальоновелосипеда, монолит, раб, намертво примурованный к седлу, Михеев крикнул по-вороньи хрипло одно слово: т а м. И рука его, отделившись от рычага управления, произвела жест, запечатленный впоследствии на множествах древних икон и фресок: то была рука, свидетельствующая о благости, и рука дарующая, рука призывающая и смиряющая, рука, согбенная в локте и в запястье — ладонь же обращена к безупречно сняющему небу, жест миротворца. И рука эта показала т у д а, в сторону реки. Други, — перебивает Норвегов, — я рад, что на пути ко мне вы встретили нашего уважаемого почтальона, в наших местах это считается доброй приметой. Но мне снова тревожно, я хочу опять возвратиться к разговору о той женщине, я жду очередных подробностей. Скажите, с кем или с чем вы могли бы сравнить ее, дайте метафору, дайте сравнение, а то я не слишком четко представляю ее себе. Дорогой отставник, мы могли бы сравнить ее с криком ночной птицы, воплощенным в образе человеческом, а также с цветком отцветающей хризантемы, а также с пеплом отгоревшей любви, да, с пеплом, с дыханием бездыханного, с призраком, и еще: женщина, отворившая нам, была тот бабушкин меловой ангел с одним надломленным крылом, тот — ну, вы, наверное, знаете. Вот так номер, — отзывается Савл, — я начинаю подозревать худшее, я в отчаянии, да не может этого быть, ведь вот же обычным образом беседую здесь с вами, вот я слышу каждое ваше слово, чувствую, осязаю, вижу, а тем не менее, как будто, будто бы, как следует из ваших описаний... нет, но я имею право и не верить, не признавать, сказать — нет, не так ли? Решительно.

С растрепанными седыми волосами. Жестикулируя. Савл Петрович, там, где кончается овсяная нива – там почти сразу начинается Лета. Берег ее довольно высок, обрывист, он в большой степени состоит из песка. На самом верху обрыва, на травянистой площадке произрастают сосны. С этой площадки хорошо виден тот берег и вся река – вверх и вниз по течению. Цвет реки темноголубой, чистый, она стремит свои воды бережно, неторопясь. Что касается ширины ее, то об этом лучше всего расспросить тех редких птиц, которые. Они летят и не возвращаются. Подойдя к обрыву, мы сразу увидели ваш дом – он, как всегда, стоял на том берегу, во лузях, кругом качались цветы и жили стрекозы. Тут же были стрижи и ласточки. А вы Савл Петрович, вы сами сидели у воды, причем несколько удочек были заброшены и удилища укреплены на специальных рогатках. То и дело клевало, и звоночки, прикрепленные к лескам, позванивали и будили вас от полуденной дремы. Вы просыпались, делали подсечку и вытаскивали очередного глухаря, точнее – пескаря. Нет-нет, – замечает географ, – мне ни разу не удавалось поймать ни одной рыбины, у нас в Лете рыба просто не водится, это клевали тритоны. Надо сказать, они ничуть не хуже карася или окуня, даже лучше. Сушеные, они напоминают по вкусу воблу, очень толково с пивом. Я порой продавал на станции: несу целое ведро и продаю, там, возле пивного ларька. Бывало, пока несешь, они высыхают прямо на глазах, прямо в ведре, если жарко, конечно. И вот мы подошли к обрыву, увидали вас, сидящего на противоположном песке, и поздоровались: здравствуйте, Савл Петрович! клюет? Доброго здоровья, – отвечали вы с того берега, – сегодня что-то не очень, печет сильно. Помолчали, слышно было, что Лета течет вспять. Потом вы спросили: а вы, друзья мои, почему не на занятиях, прогуливаете? Да нет, Савл Петрович, мы за вами приехали. Что-нибудь случилось в школе? Да нет, ничего, вернее, вот что, получилось так, что вы сегодня не пришли на экзамен, горные системы, реки и другое – география. Вот те на, – отвечали вы, – но я не могу нынче, неважно себя чувствую. А что у вас – ангина? Хуже, ребята, гораздо хуже. Савл Петрович, вы не хотели бы переехать к нам, на наш берег, у вас лодка, а у нас здесь ничего нет, наша лодка хоть и здесь, но греби заперты в сарае, у нас есть для вас подарок, мы привезли торт.

Лопайте сами, други, – сказали вы, – у меня никакого аппетита, да я и не люблю сладкое, спасибо, не стесняйтесь. Ладно, – а мы, – мы, наверное, сьедим сейчас. Мы развязали коробку, разрезали торт перочинным ножом на две равные части и стали есть. Мимо шла самоходная баржа, на палубе на веревках висело белье и на качелях качалась простая девочка. Мы помахали ей крышкой от торта, но девочка не заметила, потому что смотрела в небо. Мы быстро съели торт и спросили: Савл Петрович, а что передать Тинберген и Перилло, когда вы будете? Не понимаю, не слышу, – отвечали вы, – пусть баржа уйдет. Мы подождали, пока баржа уйдет, и снова сказали: что передать Трахтенберг, когда вы будете? Не знаю, как тут получится, ребята, дело в том, что я, очевидно, не приду совсем, передайте, что я с этого вторника не работаю у вас, беру рассчет. А что такое, Савл Петрович, нам весьма жаль, мы будем скучать без вас, это неожиданно. Не горюйте, – улыбнулись вы, – в специалке много квалифицированных педагогов и без меня. Но время от времени я стану прилетать, заглядывать, мы будем видеться, поболтаем, черт побери. Савл Петрович, а можно мы навестим вас на той неделе на том берегу всем классом? Давайте, радостно жду, только предупредите остальных: никакой закуски не надо, полная потеря аппетита. А что за болезнь, Савл Петрович? Да не болезнь, други, это не болезнь, – сказали вы, вставая и отряхивая подвернутые до колен брюки, – дело в том, что я у м е р, сказали вы, – да, все-таки умер, к чертям, умер. Медицина у нас, конечно, хреновая, но насчет этого – всегда точно, никакой ошибки, диагноз есть диагноз: у м е р, – сказали вы, – прямо зло берет. Раздраженно. Так я и думал, – говорит Савл, сидящий на подоконнике, греющий босые ступни ног своих о батарею. – Когда вы сказали про женщину, которая отворила дверь, у меня сразу появилось какое-то нехорошее предчувствие. Ну ясно, теперь я все вспомнил, это была одна моя знакомая, скорее, даже родственница. А что было после, ученик такой-то? Мы вернулись в город, явились в школу и рассказали всем, что с нами, а точнее – с вами, случилось. Все сразу как-то огорчились, многие помертвели лицами и плакали, особенно девочки, особенно Роза. О Роза! – говоит Савл, – бедная Роза Ветрова. А потом состоялись похо-

роны, Савл Петрович. Вас хоронили в четверг, вы лежали в зале для актов, очень много народу пришло проститься: все ученики, все учителя и почти все родители. Вас, понимаете, ужасно любили, особенно мы, спецшкольники. Знаете, что интересно: у вас в изголовье стоял огромный глобус, самый большой в школе, и те, кто дежурил в почтенном карауле, по очереди вращали его — было красиво и торжественно. Все время играл наш духовой оркестр, пять или шесть ребят, причем, было две трубы, а остальные — барабаны, большие и маленькие, представляете? Говорили речи, Перилло плакал и клялся, что добьется в отделе народного оборзования, чтобы школу переименовали в школу имени Норвегова, а Роза — вы знаете? — Роза прочитала для вас удивительные и прекрасные стихи, она сказала, что всю ночь не спала и сочиняла. Вот как? но я что-то смутно... напомните хоть строчку. Сейчас, сейчас, кажется, примерно так:

Вчера я засыпала под шум семи ветров,
Холодных и могильных, под шум семи ветров.
И Савл Петрович умер под шум семи ветров.
Не сплю я в нашем доме под шум семи ветров.
И воет собачонка под шум семи ветров.
Шел кто-то очень близкий по снегу, по ветрам,
Шел некто на мой голос, мне что-то он шептал,
И я, ответить силясь, звала его по имени —
Пришел к моей могиле он,
И вдруг меня узнал.

О Роза, — истерзанно говорит Савл,—бедная мой девочка, нежная моя, я узнал тебя, узнал, благодарю тебя. Ученик такой-то, прошу вас, поберегите ее ради меня, ради нашей с вами старинной дружбы, Роза очень больна. И напоминайте ей, пожалуйста, чтобы не забывала, чтобы навещала, она же и дорогу, и адрес. Я живу все там же, на том берегу, где мельницы. Скажите, она по-прежнему отлично? Да-да, только пятерки. И тут мы услышали, как на четвертом, а затем и по всей парадной лестнице—сверху вниз—загрохотало, заорало, завопила: это означало, что репетиция закончилась и бежит, исходит из зала в сторону улицы. Дураки

хореографического анасамбля ринулись к раздевалкам сразу всей идиотской массой, плюя друг другу в лицо, ревя, кривляясь, извиваясь телами, ставя подножки, хрюкая и хохоча. Когда мы снова обратили лица свои к Савлу Петровечу, его уже не было с нами – подоконник был пуст. А за окном шагала неизбывная тысяченогая улица.

Какая печальная история, юноша, как понятны мне ваши чувства, чувства ученика, потерявшего любимого учителя. Что-то похожее было, между прочим, и в моей жизни. Поверите ли, я не сразу стал академиком, до этого мне пришлось похоронить не один десяток учителей.Но однако ж, – продолжает Акатов, – вы обещали рассказать мне о какой-то книге, ее, как будто, дал вам в тот раз ваш педагог. Я совсем упустил из виду, сударь. Ту книгу он дал мне в другую встречу – раньше или позже, но если позволите, я сейчас расскажу. Савл Петрович опять сидел там, на подоконнике, грея ноги. Мы же вошли задумчиво: дорогой наставник, вам, вероятно, известно, что чувства, которые мы питаем к нашему преподавателю биоботаники Вете Аркадьевне, не лишены смысла и основания. По-видимому свадьба наша не за горными, с позволения сказать, системами. Но мы совершенно наивны в некоторых деликатных вопросах. Не могли бы вы – проще говоря, скажите, как это нужно делать, у вас же были женщины. Женщины? – переспрашивает Савл, – да, насколько мне помнится, у меня были женщины, но тут есть одна загвоздка. Понимаете, я не могу ничего толком объяснить, я сам уже на знаю, как именно это бывает. Как только это кончается, сразу все забываешь. Я не помню ни единой женщины из всех, что у меня были. То есть, я помню лишь имена, лица, одежду, какую они носили, их отдельные фразы, улыбки, слезы, гнев их, но по поводу того, о чем вы спрашиваете, я ничего не скажу – я не помню, не помню. Ибо все это построено скорее на чувствах, нежели на ощущениях, и уж, конечно, не на здравом рассудке. А чувства – они как-то быстро проходят. И вот только что я замечу: всякий раз это точно так же, как в предыдущий, но и вместе с тем вовсе по-иному, по-новому. Но любой раз не похож на тот первый, единственный раз с первой женщиной. Но о

первом разе я вообще не скажу ни слова, потому что его абсолютно ни с чем не сравнить, и мы еще не придумали ни одного слова, которое можно о нем сказать, если говорить не впустую. Восторженно. С улыбкой мечтающего о невозможном. Но вот вам книга, – продолжал Норвегов, доставая из-за пазухи книгу, – она у меня случайно, она не моя, мне самому дали на пару дней, так возьмите ее, почитайте, может, вы что-нибудь там найдете для себя. Спасибо, – сказали мы, и ушли читать, читая. Сударь, то была превосходная переводная брошюра одного немецкого профессора, она была о семье и браке, и как только я открыл ее, мне все сразу стало понятно. Я прочитал только одну страницу, открытую наугад, примерно такую-то – и сразу вернул книгу Савлу, поскольку все понял. Что же именно, юноша? Я понял, как именно будет строиться наша с Ветой Аркадьевной жизнь, на каких основах. Там все написано. Я заучил наизусть всю страницу. Там напечатано: "Он (то есть, я, сударь) несколько дней был в отъезде. Он тосковал по ней, а она (то есть, Вета Аркадьевна) по нему. Должны ли они (то есть мы) скрывать это друг от друга, как это часто происходит вследствие неправильного воспитания? Нет. Он возвращается домой и видит, что все очень мило прибрано (Аркадий Аркадьевич, у нас в гостиной непременно будете висеть вы, то есть ваш портрет в полное туловище, в тот вечер он будет украшен цветами). Как бы между прочим, она говорит: "Ванна готова. Белье я уже положила. Сама я уже искупалась." (Представляете, сударь?). Как замечательно, что она рада, и в предвкушении любви все уже приготовила для этого. Не только он желает ее, но и она желает его и без ложного стыда ясно дает ему понять это"...Понимаете, сударь? ж е л а е т меня, Вета ж е л а е т, ж е л а е т, без ложного. Я понимаю, юноша, понимаю. Но вы не совсем верно уловили мою мысль. Я имел ввиду другое, я намекал не столько на духовно-физиологические основы ваших взаимоотношений, сколько на материальные. На что вы, проще сказать, собираетесь существовать, на какие средства, каковы ваши доходы? предположим, Вета в скором времени согласится на брак с вами, ну а дальше? вы что – собираетесь работать или учиться? Ба! вот вы о чем, сударь, впрочем я догадывался, что и об этом вы тоже спросите. Но

видите ли, вероятно, в самом скором будущем я заканчиваю нашу спецшколу, очевидно экстерном. И тут же поступаю на одно из отделений какого-нибудь из инженерных заведений: я, подобно всем моим одноклассникам, мечтаю стать инженером. Я быстро, если не сказать — с т р е м г л а в, становлюсь инженером, покупаю машину и прочее. Так что не беспокойтесь, мне было бы приятно, если бы вы воспринимали меня как потенциального студента, не меньше того. Позвольте, позвольте, но при чем же тогда все ваши рассуждения о бабочках? вы информировали меня о большой коллекции, я был убежден, что передо мной подающий надежды молодой коллега, а тут оказывается, я уже целый час имею дело с инженером будущего. О, я ошибся, сударь, инженером мечтает стать тот, д р у г о й, который теперь не здесь, хотя, может, и заглянет сюда с минуты на минуту. Я же — ни за что, лучше — петушков на палочке, лучше — учеником холодного сапожника, лучше — негром преклонных годов, но инженером — нет, ни за какие такие, и не просите даже. Я решил твердо: только биологом, как вы, как Вета Аркадьевна, на всю жизнь — биологом, и главным образом — по части бабочек. У меня для вас небольшой сюрприз, Аркадий Аркадьевич, на днях я намереваюсь отправить на академический конкурс энтомологов свою коллекцию, несколько тысяч бабочек. Письмо я уже приготовил. Смею надеяться, что успех не заставит себя долго ждать, и уверен, что и вам не безразличны мои будущие достижения и вы порадуетесь вместе со мной. Сударь, вы только представьте себе, вот утро, одно из первых утр, заставших нас с Ветой рядом. Где-то здесь, на даче — у вас или у нас, это неважно. Утро, полное надежд и счастливых предчувствий, утро, которое ознаменуется известием о присуждении мне академической премии. Утро, которое мы никогда не забудем, потому что — ну, вам-то не нужно объяснять, почему именно: позволительно ли для ученого забывать миг вкушения славы! Одно из утр....

Ученик такой-то, разрешите мне, автору, перебить вас и рассказать, как я представляю себе момент получения вами долгожданного письма из академии, у меня, как и у вас,

неплохая фантазия, я думаю, что смогу. Конечно, рассказывайте, — говорит он.

Предположим, в одно такое утро — предположим, утро какой-нибудь из июльских суббот — почтальон по фамилии Михеев, а может быть Медведев (он довольно стар, очевидно, ему не меньше семидесяти, он живет на пенсию и еще получает на почте половинную ставку развозчика газет и писем, доставщика телеграмм и разных извещений, которые он, кстати, возит не в обычной почтальонской сумке, а в необычной для почтальона сумке, — его сумка — обычная хозяйственная сумка из черного дерматина, — и не на ремне через плечо, а на обычных лямочках-ручках на велосипедном руле), итак, в одно субботнее июльское утро почтальон Михеев останавливает свой велосипед возле вашего дома и по-стариковски, пенсионно-неловко соскочив с него в горькую дорожную пыль, желтую дорожную пыль, в легкую и летучую пыль дороги, нажимает ржавый рычажок велосипедного звонка. Звонок пытается звенеть, но звука почти не получается, так как звонок почти умер, ибо многие необходимые шестерни внутри него чрезвычайно стерлись, съели друг друга за долгую службу, а молоточек, укрепленный на винтике, почти неподвижен от ржавчины. Но все-таки, сидя в это утро на открытой веранде, что окутана веселым щебечущим садом отца твоего, ты слышишь хрип умирающего звонка, а вернее, не слышишь, но чувствуешь его. Ты спускаешься по ступенькам веранды, ты шагаешь через веселый пчелиный сад, ты отворяешь калитку и видишь Михеева и здороваешься с ним: здравствуйте, почтальон Михеев (Медведев). Здравствуйте, говорит он, я привез вам письмо из академии. Давайте, спасибо, говоришь ты, улыбаясь, хотя от твоей улыбки нет никакого проку, потому что твоя улыбка ничего не изменит ни в ваших обыденных отношениях, ни в судьбе старого загородного почтальона, как не изменили ее тысячи других — вот таких же ни к чему не обязывающих улыбок, встречавших его всякий день у сотен дачных и не дачных калиток, дверей, у ворот и заборных лазов. И ты не можешь не согласиться со мною, ты отлично понимаешь все это сам, но привычка к вежливым поступкам, которую

внушали тебе с деcтва в школе и дома, срабатывает сама по себе, помимо твоего сознания: говоря Михееву – давайте, спасибо, – ты берешь из его пожилой венозной руки желтый конверт и – улыбаешься. В один из моментов вашей короткой встречи, вашего традиционного, то есть никому из вас не нужного, а все-таки неизбежного диалога ("Здравствуйте, почтальон Михеев", "Здравствуйте, я привез вам письмо из академии", "Давайте, спасибо"), в момент твоей и его жизни, в минуту существования поющих у тебя за спиной синих садовых птиц, в час скольжения голубых весельных лодок, скользящих по невидимой отсюда реке Лете и по другим невидимым рекам, его голубая и рябая от старости и некрасивая от рождения рука протягивает тебе желтый конверт и едва касается твоей – молодой, темной от загара и, в сущности, лишенной морщин. Неужели, – размышляешь ты в эту секунду, – неужели и моя рука станет когда-нибудь такой же? Но тут же успокаиваешь себя: нет-нет, не станет, я ведь бегаю в школе укрепляющие кроссы, а Михеев не бегал. Вот отчего у него такие руки, – заключаешь ты, улыбаясь. "Давайте, спасибо". "Пожалуйста", – невнятно и без улыбки произносит Михеев (Медведев), загородный развозчик писем и телеграмм, доставщик извещений и газет, старик, пенсионер-почтальон, невеселый велосипедист с необычно-обычной сумкой на руле, человек мечтательный, угрюмый и пьющий. Вот он, не оглядываясь ни на тебя, ни на сад, полный синих птиц, вот он так же неловко, как слезал минуту назад, садится на велосипед и, неумело педалируя, везет свои, а вернее, чужие письма в сторону дома отдыха и водокачки, в сторону поселковых окраин, цветочных полян, бабочек и фундуковых серебристых орешников. Он немного с похмелья, ему, пожалуй, стоит поскорее развезти оставшиеся письма и письмена, будь они все неладны, а потом отправиться домой и развести водой небольшое количество спирта – его старуха работает санитаркой в местной больнице и это добро в доме никогда не переводится и не переводится зря, – а затем, закусив малосольным помидором из дубовой кадушки (в подвале, где она стоит, – пауки, холодок, проросшая картошка и запах плесени), поехать куда-нибудь в сосны, в рябины, или в те же самые орешники за водокачкой и поспать в тени, покуда не пере-

станет печь солнце. Когда почтальону за семьдесят, ему нету пользы кататься весь день по такой жаре, надо же и отдохнуть. Но в сумке еще есть кое-какие письма: кто-то кому-то пишет, кому-то не лень отвечать, всякий раз занимать у соседей конверт, покупать марку, вспоминать адрес и ходить по жаре искать ящик. Да, есть еще кое-какие письма и нужно их развезти. И вот он едет сейчас в сторону водокачки. Тропинка, едва намеченная в некошенной траве, идет в гору, и ноги Михеева, обутые в черные ботинки, с высокими, чуть ли не дамскими каблуками, то и дело срываются с педалей, и руль при этом перестает подчиняться письмоносцу, переднее колесо пытается встать поперек движения остальных частей этой несложной машины, колесо дает юз, спицы его по ходу дела срезают головки одуванчикам – белые парашютики семян взлетают и медленно опускаются на Михеева (Медведева), осыпают старого почтаря, будто намереваясь оплодотворить собою его шляпу из фетра и черную драповую и, верно, очень душную в такую погоду, косоворотку. Парашютики опускаются и на брюки из прорезиненной ткани, одна штанина которых – правая – стянута повыше михеевской щиколотки липовой бельевой прищепкой, чтобы материя, паче чаяния, не попала в передаточный механизм – цепь, маленькая шестеренка, соединенная с задним колесом при помощи втулки, большая шестерня, с приваренными к ней педальными рычагами, – иначе Михеев сразу упадет в травы, в цветы, рассыпав при этом все письма. Их подхватит ветер и унесен за реку, в заливные луга: так уже случалось, или могло случиться, а значит – как бы случалось, – и что тогда делать старому почтарю, как не брать у перевозчика лодку и не плыть туда, за реку, ловить и собирать свои, а точнее чужие письма: выкраивают же люди время писать, хватает же у кого-то терпения, а о том, что вся их дурацкая писанина, все эти поздравительные открытки и якобы срочные телеграммы могут в одно прекрасное утро улететь за реку, стоит лишь Михееву упасть с велосипеда в травы, – об этом никто из них ни разу не подумал, ибо каждый старается не упасть сам, со своего собственного велосипеда, а тут уж, конечно, не до старика-письмоносца, который всю жизнь только и знает, что развозит по разным домам их несчастные каракули. Ветер-то, – вполголоса

рассказывает сам себе Михеев (Медведев), – ветер-то какой по верхам идет, не иначе, дождь нагоняет. Но это неправда: никакого ветра нет – ни верхового, ни понизу. И прежде чем над поселком прольется дождь, минует еще не меньше недели, и все это время будет ясно и безветренно и дневное небо будет синим вощеным ватманом, а ночное – черным карнавальным шелком с крупными влажными звездами из разноцветной фольги. А Михеев – он просто обманывает себя сейчас, ему просто надоела эта жара, эти письма, этот велосипед, эти безразлично-вежливые адресаты, которые всегда улыбаются, приветствуя его на порогах своих садов, где наливаются и гудят яблоки, и он, Михеев, хочет обнадежить себя хоть какой-нибудь переменой в этой знойной, скучной и однообразной для него дачной жизни, которой он, как будто, принадлежит, но в которой почти не участвует, хотя всякий, кто имеет свой дом здесь или за рекой, знает Михеева в лицо; и когда он проезжает на своем старинном велосе с беззвучным звонком, встречные дачники улыбаются Михееву, но он угрюмо или печально, или по-стариковски мечтательно, словно любуясь ими, оглядывает их молча и катит дальше – в сторону станции, в сторону пристани или – как теперь – в сторону водокачки. Молча. Михеев близорук, носит очки без оправы, время от времени отпускает бороду и время от времени сбривает ее, а может, ее обрывает ветер, но и с бородой, и без, он в представлении дачников являет собою редкий тип пожилого мечтателя, любителя велосипедной езды и мастера почтовых манипуляций. Ветер, – продолжает он лгать самому себе, – к вечеру непременно буря, гроза, сады все взлохматит, будут мокры и лохматы, а кошки – лохматы и мокры: спрячутся по чердакам, по цоколям дач, станут выть, а река разольется, выплеснется из берегов и зальет дачи, зальет все эти кипящие на верандах самовары и чадящие керосинки, зальет почтовые ящики на заборах, и все письма, что лежат теперь у него в сумке, и которые он скоро развезет по ящикам, обратятся в ничто, в пустые клочки бумаги с размытыми и потерявшими смысл словами, а лодки – эти дурацкие ободранные плоскодонки, на которых катаются бездельники из дома отдыха и лодари-дачники, – эти лодки поплывут вверх

дном вниз по течению до самого моря. Да, – мечтает Михеев, – ветер перевернет вверх дном всю эту садово-самоварную жизнь и хоть на время прибьет пыль. "Из пыли, – вдруг вспоминает пенсионер читанное где-то и когда-то, – бриз мастерит серебряные кили". Вот именно, из пыли, анализирует Михеев, и именно кили, то есть кили к лодкам, килевые лодки, значит, а не плоскодонки, чтоб им пусто было. Скорей бы уж ветер. "Ветер в полях, ветерок в тополях", – опять цитирует Михеев в уме, меж тем как тропинка поворачивает вправо и идет немного под гору. Теперь до самого мостика через овраг, где растут в обилии лопухи и наверняка живут змеи, можно оставить педали в покое и дать отдых ногам: пусть они свободно висят, покачиваясь по сторонам рамы, и не трогают педали и пусть машина катится сама по себе – навстречу ветру. Насылающий ветер? – думаешь ты о Михееве. Ты уже не видишь его, он, как иногда говорят, пропал за поворотом – растаял в дачном июльском мареве. Весь обсыпанный летучими семенами одуванчиков, рискующий на каждом метре велосипедного пробега потерять летние открытки, писанные от нечего делать, он со своими старческими венозными руками мчится теперь навстречу мечтаемому. Он полон забот и волнений, он почти выброшен за борт дачного бытия и это ему не нравится. Бедняга Михеев, – думаешь ты, – скоро, скоро отойдут боли твои и сам ты станешь встречным металлическим ветром, горным одуванчиком, мячиком шестилетней девочки, педалью шоссейного велосипеда, обязательной воинской повинностью, алюминием аэродромов, пеплом лесных пожарищ, дымом станешь, дымом ритмичных пищевых и текстильных фабрик, скрипом виадуков, галькой морских побережий, светом дня и стручками колючих акаций. Или – дорогой станешь, частью дороги, камнем дороги, придорожным кустом, тенью на зимней дороге станешь, побегом бамбука станешь, вечным будешь. Счастливчик Михеев. Медведев?

По-моему вы прекрасно рассказали о нашем почтальоне, дорогой автор, и неплохо описали утро получения письма, я ни за что не сумел бы так выпукло, вы очень талантливы, и

я рад, что именно вы взяли на себя труд написать обо мне, о всех нас такую интересную повесть, право, не знаю, кто еще мог бы сделать это с таким успехом, спасибо. Ученик такой-то, мне чрезвычайно приятна ваша высокая оценка моей скромной работы, знаете, я последнее время немало стараюсь, пишу по нескольку часов в день, а в остальные часы — то есть, когда не пишу — размышляю о том, как бы получше написать завтра, как бы написать так, чтобы понравилось всем будущим читателям и, в первую очередь, естественно, вам, героям книги: Савлу Петровичу, Вете Аркадьевне, Аркадию Аркадьевичу, вам, Нимфеям, вашим родителям, Михееву (Медведеву) и даже Перилло. Но боюсь, что ему, Николаю Горимировичу, не понравится: он все-таки, как писали в прежних романах, н е м н о г о с л и ш к о м устал и угрюм. Думаю, попадись ему только в руки моя книга, он позвонит вашему отцу — они с отцом, насколько мне известно, старые товарищи по батальону, служили вместе с самим Кузутовым — и скажет: знаете, мол, какой о нас с вами пасквиль состряпали? Нет, скажет прокурор, а какой? Антинаш, скажет директор. А кто автор? — поинтересуется прокурор, — дайте автора. Сочинитель такой-то, — доложит директор. И боюсь, после этого у меня будут большие неприятности, вплоть до самых неприятных, боюсь, меня сразу отправят туда, к доктору Заузе. Это верно, дорогой автор, наш отец служит как раз по этой части, по части неприятностей, но отчего вы обязательно хотите указать не титуле свое настоящее имя, почему бы вам не взять м и н о д в е с п? Тогда ведь вас днем с огнем не найдут. Вообще говоря, неплохая мысль, я, вероятно, так и сделаю, но тогда мне будет неудобно перед Савлом: смелый и несгибаемый, он сам никогда в жизни так бы не поступил. Рыцарь без страха и упрека, географ шел один против всех с открытым забралом, разгневанно. Он может подумать обо мне плохо, решит, пожалуй, что я никуда не гожусь — ни как поэт, ни как гражданин, а его мнение для меня крайне ценно. Ученик такой-то, посоветуйте, пожалуйста, как тут быть. Дорогой автор, мне кажется, что хоть Савла Петровича и нет с нами, и он, по-видимому, уже ничего о вас не подумает, все-таки лучше поступить так, как поступил бы в подобном

случае он сам, наш учитель: он бы не брал псевдонима. Понятно, благодарю вас, а теперь я хочу узнать ваше мнение относительно названия книги. Судя по всему, повествование наше близится к концу и время решать, какое заглавие мы поставим на обложке. Дорогой автор, я назвал бы вашу книгу ШКОЛА ДЛЯ ДУРАКОВ; знаете, есть Школа игры на фортепьяно, Школа игры на барракуде, а у вас пусть будет ШКОЛА ДЛЯ ДУРАКОВ, тем более, что книга не только про меня или про него, другого, а про всех нас, вместе взятых, учеников и учителей, не так ли? Да, здесь участвует несколько человек из вашей школы, но мне представляется, что если назвать ШКОЛА ДЛЯ ДУРАКОВ, то некоторые читатели удивятся: называется ШКОЛА, а рассказывается только о двух или трех учениках, а где же, мол, остальные, где все те юные характеры, удивительные в своем разнообразии, коими столь богаты наши сегодняшние школы! Не беспокойтесь, дорогой автор, передайте своим читателям, да, прямо так и скажите, что ученик такой-то просил передать, что во всей школе, кроме них двоих, да еще, быть может, Розы Ветровой, нет абсолютно ничего интересного, никакого там удивительного разнообразия нет, все – жуткие дураки, скажите, что Нимфея сказал, что писать можно только о нем, потому что только о нем и следует писать, поскольку он настолько лучше и умнее остальных, что это сознает даже Перилло, так что, говоря о школе для дураков, достаточно рассказать об ученике таком-то – и все сразу станет ясно, так и передайте, да и вообще, почему вас заботит, кто там что скажет или подумает, ведь книга-то ваша, дорогой автор, вы вправе поступать с нами, героями и заголовками, как вам понравится, так что, как заметил Савл Петрович, когда мы спросили его насчет торта, – валяйте: ШКОЛА ДЛЯ ДУРАКОВ. Ладно, я согласен, но давайте все же на всякий случай заполним еще несколько страниц беседой о чем-нибудь школьном, поведайте читателям об уроке ботаники, например, ведь его ведет Вета Аркадьевна Акатова, по отношению к которой вы столь долго питаете свои чувства. Да, дорогой автор, я с удовольствием, мне так приятно, я полагаю, что все скоро окончательно решится, наши взаимоотношения все более определяются,

все резче и резче, словно это не отношения, но лодка, идущая по затуманенной Лете ранним утром, когда туман все рассеивается, и лодка все ближе, да, давайте напишем еще несколько страниц о моей Вете, но я, как это нередко бывает, я не понимаю, с чего начать, какими словами, подскажите. Ученик такой-то, мне кажется, лучше всего начать словами: и в о т.

И вот она входила. Она входила в биологический кабинет, где стояли по углам два скелета. Один был искусственный, а другой – настоящий. Администрация школы купила их в специализированном магазине С К Е Л Е Т Ы, в центре нашего города, причем, настоящие там стоят гораздо дороже искуственных – и это понятно, и с таким положением л е щ е й трудно не согласиться. Однажды, проходя вместе с нашей доброй любимой матерью мимо С К Е Л Е Т О В – было это вскоре после смерти Савла Петровича, – мы увидели его стоящим у витрины, где расставлены были образцы товаров и висело: з д е с ь п р о и з в о д и т с я п р и е м с к е л е т о в у н а с е л е н и я. Ты помнишь, надвигалась осень, вся улица куталась в длинные мушкетерские плащи и ее разбрызгивали своими колесами и копытами прозябшие, утратившие торжественность пролетки и фаэтоны, и все только и говорили что о погоде, сожалея об утраченном лете. А Савл Петрович – небрито и худощаво – стоял у витрины в одной ковбойке и в парусиновых, подвернутых до колен брюках, и единственное, что выступало в его облике в пользу осени – были мокроступы на босу ногу. Мама увидела преподавателя и всплеснула руками в черных нитяных перчатках: батюшки, Павел Петрович, что вы здесь делаете в такую нехорошую пору, на вас лица нет, на вас только рубашка и брюки, вы же схватите воспаление легких, где ваш выходной теплый костюм и коверкотовое пальто, которое мы подарили вам на прощанье; а шапка, мы так долго выбирали ее все вместе, всем родительским комитетом! Ах, мамаша, – отвечал Савл, улыбаясь, – не беспокойтесь вы, ради бога, со мной все обойдется, лучше поберегите сына, у него вон уже сопли побежали, а насчет той одежды я так скажу: черт с ней, ну ее, не могу,

задыхаюсь, там трет, там жмет и давит, понимаете? Чужое это все было, нетрудовое, не на мои куплено – вот и продал. Осторожнее, – Норвегов взял маму под руку, – вас забрызгает омнибус, отойдите от края. А почему, – спросила она, стараясь побыстрее освободиться от его прикосновения, и это было слишком заметно, – почему вы здесь, возле такого странного магазина? Я только что продал свой скелет, – сказал учитель, – я продал его в рассрочку, завещая. Передайте Перилло, пусть берет машину и приезжает, я завещал скелет нашей школе. Но зачем, – удивилась мама, – неужели вам э т о не дорого? Дорого, мамаша, дорого, но приходится как-то зарабатывать на хлеб насущный: хочешь жить – умей вертеться, не так ли? Вы же знаете – в школе я больше не числюсь, а одними частными уроками пробавляться – так недолго и ноги протянуть: подумайте, много ли в теперешних школах неуспевающих по моему предмету? Ну да, ну да, – сказала мама, – ну да. И больше мама ничего не сказала, мы повернулись и пошли. До свидания, Савл Петрович! Когда мы станем такими, как вы, то есть, когда нас не станет, мы тоже завещаем наши скелеты нашей любимой школе, и тогда целые поколения дураков – отличники, хорошисты, двоечники – будут изучать строение человеческого костяка по нашим нетленным остовам. Дорогой Савл Петрович, это ли не кратчайший путь в бессмертие, о котором мы все столь лихорадочно мыслим, оставаясь наедине с честолюбием! Когда она входила, мы вставали и загораживали собой скелеты и она не могла их видеть, а когда мы садились, скелеты продолжали стоять и она снова видела их. Верно, они стояли всегда – на черных металлических треногах. Признайся, ты немного любил их, особенно тот, настоящий. А я и не скрываю, я действительно любил и до сих пор, спустя много лет, люблю их за то, что они как-то сами по себе, они независимы и спокойны в любых ситуациях, особенно тот, в левом углу, кого мы называли Савлом. Послушай, а почему ты произнес только что какие-то непонятные слова: д о с и х п о р, с п у с т я м н о г о л е т, –что ты хочешь этим сказать, я не понимаю, мы что – разве не учимся больше в школе, не занимаемся ботаникой, не бегаем укрепляющих кроссов, не носим в мешочках белые полутапочки, не пишем объяснительных записок о потерян-

ном доверии? Пожалуй, что нет, пожалуй, не пишем, не бегаем и не учимся, нас давно нет в школе, мы то ли окончили ее с отличием, то ли нас выгнали за неуспеваемость – теперь не вспомню. Хорошо,но чем же мы занимались с тобой все эти годы после школы? Мы работали. Вот как, а где, кем? О, в самых разных местах. Первое время мы служили в прокуратуре у отца, он взял нас к себе на должность точильщиков карандашей и мы побывали на многих судебных заседаниях. В те дни наш отец возбудил дело против покойного Норвегова. А в чем дело, неужели учитель сделал что-то не так? Да, несмотря на новый закон о флюгерах, предписывающий уничтожение таковых, имеющихся на крышах и во дворах частных домов, Савл не убрал свой флюгер и наш отец потребовал у судей и присяжных самой суровой статьи для географа. Его судили заочно и приговорили к высшей мере наказания. Черт возьми, но отчего никто не заступился за него? О деле Норвегова кое-где узнали, прошли демонстрации, но приговор остался в силе. Затем мы работали дворниками в Министерстве тревог, и один из министров нередко вызывал нас к себе, чтобы за чашкой чая проконсультироваться относительно погоды. Нас уважали и мы были на хорошем счету и считались ценными сотрудниками, ибо ни у кого в Министерстве не было таких встревоженных лиц, как у нас. Нас уже собирались повысить, перевести в лифтеры, но тут мы подали заявление по-щучьему и по рекомендации доктора Заузе поступили в мастерскую Леонардо. Мы были учениками в его мастерской во рву Миланской крепости. Мы были лишь скромными учениками, но сколь многим этот прославленный художник обязан нам, ученикам таким-то! Мы помогали ему наблюдать летание на четырех крыльях, месили глину, возили мрамор, строили метательные снаряды, но главным образом – клеили картонные коробочки и разгадывали ребусы. А однажды он попросил нас: юноша, я работаю сейчас над одним женским портретом и написал уже все, кроме лица; я теряюсь, я стар, фантазия начинает отказывать мне в своих проявлениях, посоветуйте, каким, по-вашему, должно быть это лицо. И мы сказали: это должно быть лицо Веты Аркадьевны Акатовой, нашей любимой учительницы, когда она входит в класс на очередной урок. Это идея, сказал старый

мастер, так опишите мне ее лицо, опишите, я хочу видеть этого человека. И мы описали. Вскоре мы взяли у Леонардо рассчет: надоело, вечно приходится тереть краски, и руки ничем не отмоешь. Потом мы работали контролерами, кондукторами, сцепщиками, ревизорами железнодорожных почтовых отделений, санитарами, экскаваторщиками, стекольщиками, ночными сторожами, перевозчиками на реке, аптекарями, плотниками в пустыне, откатчиками, истопниками, зачинщиками, вернее – заточниками, а точнее – точильщиками карандашей. Мы работали там и тут, здесь и там – повсюду, где была возможность наложить, то есть, приложить руки. И куда бы мы ни пришли, о нас говорили: смотрите, вот они –Те Кто Пришли. Жадные до знаний, смелые правдолюбцы, наследники Савла, его принципов и высказываний, мы гордились друг другом. Жизнь наша была все эти годы необычайно интересной и полной, но во всех переплетах ее мы не забывали нашу специальную школу, наших учителей, особенно Вету Аркадьевну. Мы обычно представляли ее себе в тот момент, когда она входит в класс, а мы стоим, смотрим на нее, и все, что мы знали о чем-либо до сих пор все это – становится совершенно ненужным, глупым, лишенным смысла – и в мгновение отлетает подобно шелухе, кожуре или птице. А почему бы тебе не рассказать, как именно она выглядела, когда входила, почему бы не дать, как говорит Водокачка, портретную характеристику? Нет-нет, невозможно, бесполезно, это лишь загромоздает нашу беседу, мы запутаемся в определениях и тонкостях. Но ты только что вспоминал о просьбе Леонардо. Тогда, у него в мастерской, мы, кажется, сумели описать Вету. Сумели, но описание наше было лаконичным, ибо и тогда мы не могли сказать больше того, что сказали: дорогой Леонардо, представьте себе женщину, она столь прекрасна, что когда вы вглядываетесь в черты ее, то не можете сказать н е т радостным слезам своим. И , – спасибо, юноша, спасибо, – отвечал художник, – этого достаточно, я уже вижу этого человека. Хорошо, но в таком случае опиши хотя бы кабинет биологии и нас, тех, кто сначала стоял, а затем сидел, расскажи коротко об одноклассниках, присутствовавших на уроке.

Чучела птиц были там, аквариумы, террариумы там были, портрет ученого Павлова на велосипедной прогулке в возрасте девяноста лет висел, зависая, горшки и ящики с травами и цветами стояли на подоконниках, в том числе были растения очень дальние и давние, откуда-то из мелового периода. Кроме того — коллекция бабочек и гербарий, собранные усилиями поколений. И мы там были, потерянные в кущах, пущах и зарослях, среди микроскопов, опадающих листьев и раскрашенных муляжей человеческих и не человеческих внутренностей — и мы учились. Пожалуйста, дай перечисление кораблей речного реестра, а точнее — расскажи теперь о нас, сидящих. Сейчас я не помню большинства фамилий, но я помню, что среди нас был, например, мальчик, который на спор мог съесть несколько мух подряд, была девочка, которая вдруг вставала и догола раздевалась, потому что думала, что у нее красивая фигура — догола. Был мальчик, подолгу державший руку в кармане, и он не мог поступать иначе, потому что был слабовольный. Была девочка, которая писала письма самой себе и сама себе отвечала. Был мальчик с очень маленькими руками. И была девочка с очень большими глазами, с длинной черной косой и длинными ресницами, она училась на одни пятерки, но она умерла примерно в седьмом классе, вскоре после Норвегова, к которому она питала счастливое и мучительное чувство, а он, наш Савл Петрович, тоже любил ее. Они любили друг друга у него на даче, на берегах восхитительной Леты, и здесь, в школе, на списанных физкультурных матах, на этажах черной лестницы, под стук методичного перилловского маятника. И, возможно, именно эту девочку мы с учителем Савлом называли Розой Ветровой. Да, возможно, а возможно, что такой девочки никогда не было, и мы придумали ее сами, как и все остальное на свете. Вот почему, когда твоя терпеливая мать спрашивает тебя: а девочка, она действительно умерла? — то: не знаю, про девочку я ничего не знаю, — должен ответить ты. И вот она входила, наша любимая Вета Аркадьевна. Поднявшись на кафедру, она открывала журнал и кого-нибудь вызывала: ученик такой-то, расскажите о рододендронах. Тот начинал что-то говорить, говорить, но что бы он ни рассказывал, и что бы ни рассказывали о рододендронах другие люди и научные ботанические

книги, никто никогда не говорил о рододендронах самого главного — вы слышите меня, Вета Аркадьевна? — самого главного: что они, рододендроны, всякую минуту растущие где-то в альпийских лугах, намного счастливее нас, ибо не знают ни любви, ни ненависти, ни тапочной системы имени Перилло, и даже не умирают, так как вся природа, исключая человека, представляет собою одно неумирающее, неистребимое целое. Если где-то в лесу погибает от старости одно дерево, оно, прежде чем умереть, отдает на ветер столько семян, и столько новых деревьев вырастает вокруг на земле, близко и далеко, что старому дереву, особенно рододендрону, — а ведь рододендрон, Вета Аркадьевна, это, наверное, огромное дерево с листьями величиной с небольшой таз, — умирать не обидно. И дереву безразлично, оно растет там, на серебристом холме, или новое, выросшее из его семени. Нет, дереву не обидно. И траве, и собаке, и дождю. Только человеку, обремененному эгоистической жалостью к самому себе, умирать обидно и горько. Помните, даже Савл, отдавший всего себя науке и ее ученикам, сказал, умерев: умер, просто зло берет.

Ученик такой-то, позвольте мне, автору, снова прервать ваше повествование. Дело в том, что книгу пора заканчивать: у меня вышла бумага. Правда, если вы собираетесь добавить сюда еще две-три истории из своей жизни, то я сбегаю в магазин и куплю сразу несколько пачек. С удовольствием, дорогой автор, я хотел бы, но вы все равно не поверите. Я мог бы рассказать о нашей с Ветой Аркадьевной свадьбе, о нашем большом с ней счастье, а также о том, что случилось в нашем дачном поселке в один из дней, когда Насылающий взялся, наконец, за работу: в тот день река вышла из берегов, затопила все дачи и унесла все лодки. Ученик такой-то, это весьма интересно и представляется вполне достоверным, так что давайте вместе с вами отправимся за бумагой, и вы по дороге расскажете все по порядку и подробно. Давайте, — говорит Нимфея. Весело болтая и пересчитывая карманную мелочь, хлопая друг друга по плечу и насвистывая дурацкие песенки, мы выходим на тысяченогую улицу и чудесным образом превращаемся в прохожих.

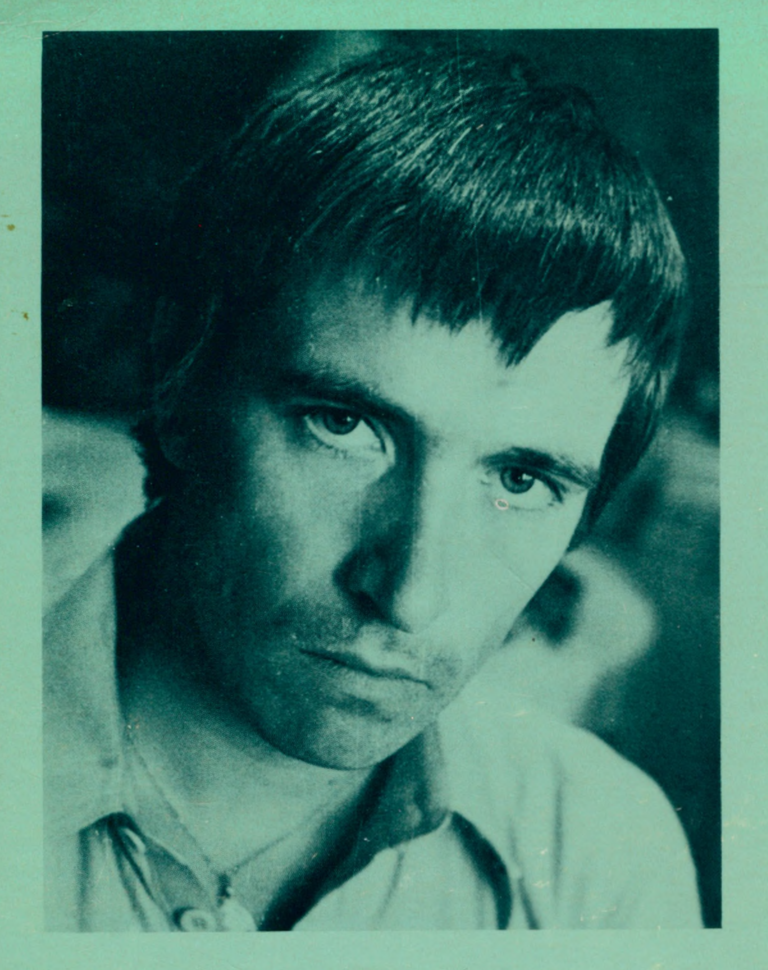
ИЗДАТЕЛЬСТВО "АРДИС"

В. Войнович, *Иванькиада* (1976)
И. Бродский, *Часть речи* (1976)
В. Набоков, *Собрание рассказов* (1976)
Л. Копелев, *Хранить вечно* (1975)
А. Платонов, *Шарманка.* Пьеса в 3-х актах (1975)
В. Марамзин, *Блондин обеего цвета* (1975)
Б. Биргер, *Каталог* (1975)
А. Платонов, *Котлован* (1973)
Н. Горбаневская, *Побережье* (1973)

Репринты первых изданий

В. Набоков, *Дар* (1975)
В. Набоков, *Машенька* (1974)
В. Набоков, *Подвиг* (1974)
В. Ходасевич, *Тяжелая лира* (1975)
О. Мандельштам, *Tristia* (1972)
А. Ахматова, *Четки* (1972)
Б. Пастернак, *Темы и варьяции* (1972)
М. Цветаева, *Версты* (1972)
К. Вагинов, *Путешествие в хаос* (1972)
М. Кузмин, *Занавешанные картинки* (1972)
В. Маяковский, *Про это* (1973)
Н. Заболоцкий, *Столбцы* (1975)

Ardis Publishers
2901 Heatherway
Ann Arbor, Michigan 48104



Саша Соколов родился в 1943 г. После окончания школы, первая его работа носила патологический характер – служил препаратором в морге. Потом, по его словам, "почему-то работал на заводе токарем". Затем он учился в Военном институте иностранных языков (1962-1965), но не доучился, не вынес тяжести погон. В 1967 г. Соколов поступил в МГУ (факультет журналистики), и закончил его заочно, в 1971 г. В студенческие лета много перемещался по России, работал и жил где попало и как попало. Он сотрудничал в разных местных газетах, печатал очерки, стихи, критические статьи, рецензии. Однако, последняя должность – истопник в Тушине. И в связи с его желанием жениться на австрийской девушке, в октябре 1975 власти предложили ему покинуть пределы бескрайной родины. Теперь он живет с женой в Венском лесу.

$3.00

Cover by Frank Mayo